

ВСЕМИРНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭЗИИ

САША ЧЕРНЫЙ



Annotation

Беспощадный сатирик и тонкий лирик, ярко и с безукоризненным вкусом блиставший всеми гранями таланта – Саша Черный (А. М. Гликберг, 1880–1932) был необыкновенно популярен в России начала XX века. Его острые, беспощадные сатиры искали в свежих номерах «Сатирикона», знали наизусть, о нем спорили и им восторгались. Саша Черный прожил не очень долгую, но насыщенную и плодотворную жизнь. В ней была и война, на которую он ушел добровольцем и о которой рассказал в стихах, и революция, которую он решительно не принял, и эмиграция, нелегко дававшаяся ему. Но он всегда был верен себе, оставался настоящим поэтом, не отступавшим от своих творческих принципов. Может быть, поэтому его поэзия до сих пор жива. Более того, она злободневна, свежа, иронична. Откройте книгу – и вы увидите знакомые ситуации, знакомые лица. Вы будете смеяться, хмуриться, раздумывать – эти стихи не оставят вас в покое, будут припоминаться, потребуют перечитать их. Словом, они навсегда останутся с вами.

- [Саша Черный](#)
 - [Сбежались. Я тоже сбежался...](#)
 - [Критику](#)
 - [Всем нищим духом](#)
 - [Быт](#)
 - [Послания](#)
 - [Провинция](#)
 - [Лирические сатиры](#)
 - [Бурьян](#)
 - [Хмель](#)
 - [Война](#)
 - [Чужое солнце](#)
 - [Русская Помпея](#)
 - [Из эмигрантского альбома](#)
 - [Стихотворения для детей](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)

- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)

- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)

- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)

- [223](#)
 - [224](#)
 - [225](#)
 - [226](#)
 - [227](#)
 - [228](#)
 - [229](#)
 - [230](#)
 - [231](#)
 - [232](#)
 - [233](#)
 - [234](#)
 - [235](#)
 - [236](#)
 - [237](#)
 - [238](#)
 - [239](#)
 - [240](#)
 - [241](#)
 - [242](#)
 - [243](#)
 - [244](#)
-

Саша Черный
Стихотворения

Сбежались. Я тоже сбежался...

«Кричали. Я тоже кричал...» – так Саша Черный описывает какое-то уличное происшествие. И здесь главное не само событие, пустячное, скорее всего, а мгновенная готовность автора причислить себя к безликой толпе зевак, стать одним из многих.

Все в штанах, скроённых одинаково,
При усах, в пальто и котелках.
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах...

Я – такой как все – словно хочет сказать поэт и это нужно ему, чтобы с беспощадной убийственной иронией показать «ближнему» его истинное лицо.

А кто, как не Саша Черный, мог сделать это наиболее, как бы мы сказали сейчас, «эффективно». Ведь его знали буквально все, или почти все.

В воспоминаниях Марина Цветаева пишет о своей детской молитве перед сном:

«– Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого...»

– Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись!

Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного (а существовал ли он уже тогда, как детский поэт? 1916 год), что она его в противовес: в противоцвет Андрею Белому – сама сочинила...».

Для широких же кругов читающей публики Саша Черный – А. М. Гликберг (1880–1932) – в те годы несомненно существовал, да еще как! Он был необычайно известен и популярен. По свидетельству Корнея Чуковского, в свежем номере «Сатирикона» читатели прежде всего искали стихи Саши Черного, «не было такой курсистки, такого студента, такого врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали бы их наизусть».

Действительно, стихи Саши Черного задевали не только самые злободневные общественные темы и настроения времени, но и самые потаенные, скрытые. Он словно говорил за читателя то, о чем тот мучительно раздумывал, но боялся не только сказать, но даже признаться себе в этих мыслях.

Где наше – близкое, милое, кровное?
Где наше – свое, бесконечно любовное?
Гучковы, Дума, слякоть, тьма, морошка...
Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?

Считается, что только хорошо зная прошлое, можно понять настоящее. Наверно, для историка это так. Поэзия же всегда вслушивается в будущее, пытается провидчески рассказать о нем, объяснить из будущего нынешний день. Саша Черный был настоящим поэтом. Что ждало Россию в самом ближайшем будущем? Революция 1905 года, Первая мировая война, жутковатый хаос октябрьского переворота, долгие годы тоталитарного режима. Может быть, в предчувствии всего этого так карикатурно текла российская жизнь: неудачная внутренняя и внешняя политика, Думская «говорильня», крушение надежд на обновление жизни толкали одних к самоубийству, других в объятия самой откровенной рутины и пошлости, как сказали бы мы сегодня – «попсы». Вопросы пола, болезненное воспевание смерти и всего связанного с нею, всяческие мистические поветрия, крикливое «новаторство» в искусстве, а в итоге – пошлое существование, черносотенство, нравственное оскудение...

Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин,

Воля улыбнется!
Полицейский! Будь покоен —
Старый гнет вернется...

Какая знакомая фразеология, какой убедительный сарказм, как все это живо и как близко нашему времени!

Саша Черный безжалостно и насмешливо предлагал своему ближнему посмотретья в зеркало («С выпученными глазами и облизывающийся – вот моя внешность» – писал современник поэта, мыслитель В. В. Розанов) и ужаснуться, поэт словно читал его мысли, говорил его голосом – и какое же мелкотравчатое и безликое существо возникало в его едких, колючих, точных стихах. Двойник, клон, отражение, в котором совершенно не хочется узнавать самого себя. Снова процитируем Корнея Чуковского, у которого с Сашей Черным были свои сложные отношения: «Он не только проклинал ее (эпоху – Г. К.), не только издевался над нею, но мало-помалу нашел другой, более действенный метод сатиры: надел на себя самого маску ненавистного ему обывателя и стал чуть ли не каждое стихотворение писать от имени этой отвратительной маски».

Словно боясь, что его действительно окончательно отождествят с какой-либо из этих гротескных личин, он написал легкое, насмешливо-улыбчивое стихотворение, своего рода визитную карточку для каждого читателя:

Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице.
В бока впился корсет...», —
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт – мужчина. Даже с бородою.

Сатирическая беспощадность, мгновенный – и, как правило, саркастический – отклик на те или иные «модные веяния», неподражаемое чувство юмора, самоирония – поэт, как уже было

сказано, нередко отождествляет себя с объектом своих сарказмов и этим словно бы смягчает свои желчные сатиры, – все это делало Сашу Черного одним из самых востребованных, самых читаемых писателей своего времени.

Но известность сатирика и юмориста не вскружила ему голову. Он тяготился громкой славой «обличителя, бичующего пороки». Его больше заботило то, что слава эта заслоняла другие грани его творчества. Более того, маска, которую он надевал, выдавая себя за махрового обывателя, порой все же принималась простодушным читателем за его истинное лицо. А между тем в творчестве Саши Черного все настойчивее звучали и мягкие, лирические ноты, совершенно не противоречащие его сатирическому дару. Наверно, во всей отечественной поэзии трудно отыскать столь органичный сплав сатиры и лирики, который явлен нам в творчестве этого поэта. Здесь фигура Саши Черного поистине уникальна.

«Хочу отдохнуть от сатиры... У лиры моей есть тихо дрожащие, легкие звуки...». Стремление расширить звучание своей лиры, выявить все грани своего таланта заставляло поэта все сосредоточеннее вглядываться в себя, искать истинно поэтическое решение «трудных вопросов», не отделяясь – пусть ярким и хлестким – стихотворным фельетоном на злобу дня. И лирик в его творчестве ничуть не уступает сатирику.

И если в стихотворных фельетонах поэт предстает умелым бойцом, виртуозно владеющим всем арсеналом сатирического оружия, то в своей лирической ипостаси он совсем иной. И вдумчивый читатель прекрасно чувствует это.

«С Сашей Черным «хорошо сидеть под черной смородиной» («объедаясь ледяной простоквашей») или под кипарисом («и есть индюшку с рисом»). И без изжоги, которую, я заметил, Саша Черный вызывает у многих эзотерических простофиль», – проникновенно писал автор «Москвы – Петушков» Венедикт Ерофеев, точно уловив лирическую открытость поэта, его доверительное, если не сказать доверчиво-беззащитное, отношение к окружающему.

А вот с другим пассажем из этой же работы о поэте можно и поспорить. Венедикт Ерофеев, возможно исходя из своего собственного литературного и общественного контекста, приписывает поэту чуждые ему черты: «С башни Вяч. Иванова не высморкаешься,

на трюмо Мирры Лохвицкой не наблюдаешь. А в компании Черного все можно, он несерьезен в самом желчном и наилучшем значении этого слова...». Позвольте не согласиться! Подобные сомнительные эскапады совершенно несвойственны поэту. Эстетическая взыскательность, безупречный вкус не позволили бы ему даже снисходительно попустительствовать подобным «душевному излияниям». Это мог бы проделать кто-нибудь из героев его сатир, например тот же художник Минога, чьи потуги эпатировать публику поэт безжалостно высмеял («Трагедия»). Кстати, в соответствующем контексте, определенной ситуации, подобный эпатаж несет несомненное, яркое и очень действенное эстетическое содержание, является необходимой составляющей творческого процесса.

Говоря о Саше Черном, невозможно не упомянуть и его дар детского поэта. Он много и успешно писал для детей. Вообще, дети это отдельная – нежная и грустная – тема его творчества, может быть наиболее сильно выразившаяся в стихотворении «Мой роман», «Кто любит прачку, кто любит маркизу...». Словом, он всегда и во всем оставался настоящим поэтом. Читатель сможет убедиться в этом – в небольшой книге, которую он держит в руках, представлены все грани поэтического творчества Саши Черного.

И снова придется вернуться к провидческой природе поэзии. Поэт словно прозревал свою грядущую поэтическую, человеческую судьбу, потому-то так стремился расширить свой диапазон, добавить как можно больше красок в свою палитру. Сатирические стихи, лирика, стихи для детей, прозаические опыты... Все это ему понадобилось в нелегко сложившейся жизни.

В первые же дни начавшейся первой мировой войны вольноопределяющийся А. М. Гликберг явился на призывной пункт и почти сразу же отправился на фронт. Пронзительные, достоверные стихи о войне, о ее тяготах и незаметном, настоящем героизме несомненно одна из вершин не только его творчества, но и всей отечественной поэзии о войне. Пожалуй, как заметил Д. Быков, только Николай Гумилев видел и пережил войну так близко и так жестоко-осязаемо, как Саша Черный. Стихи не смогли вместить весь этот нелегкий военный опыт, и уже в эмиграции он напишет «Солдатские сказки», где снова попытается осмыслить пережитое на войне. К

прозе он обращался часто и охотно, добиваясь от нее, как и от стихов, предельно ясного и чистого звучания.

Война не была последним горьким испытанием для поэта. Наверное, тяжелее и горше войны стало для него испытание эмиграцией. Да, последовательный и убежденный критик существующего строя, антимонархист, «диссидент», как сказали бы позднее, Саша Черный не принял революцию и последовавшие за ней перемены. Поэтический дар, ведший его по жизни, и на этот раз позволил ему раньше многих почувствовать все мрачные бездны «российской кровавой смуты».

«Новую послеоктябрьскую Россию я видел месяца четыре... Какой стаж необходим, чтобы иметь право суждения об этой Не-России?». Прежняя Россия, где расцвел его талант, исчезла безвозвратно. Поэт во многом повторил судьбу типичного русского скитальца-эмигранта: Германия, Италия, Франция, негустые литературные заработки, ностальгия. В стихах, написанных в эмиграции, он пытается воссоздать навсегда утраченную Россию, вспомнить и удержать ее в слове, понимая всю обреченность таких попыток.

Если уши закрыть и не слушать чужие слова
И поверить на миг, что за ельником русские дети, —
Как угрюмо потом, колыхаясь, бормочет трава
И зеленые ветви свисают, как черные плети...

Он еще не раз обратится к своему излюбленному и проверенному сатирическому дару, откликаясь на нравы буржуазной среды и на то, что происходило в коммунистической России, и среди этих насмешливых, беспощадных памфлетов немало удачных. Чего, например, стоит «Сказка про красного бычка». Вспомнит он в стихах и своего соратника по «Сатирикону» Аркадия Аверченко, а в ряде стихотворений, посвященных А. Куприну, с которым поэт близко дружил, нарисует «русскими красками» немного идиллические картины былого. И в лирике он не утратил свежесть восприятия, остроту чувств, к ним еще добавилась и житейская умудренность, стоическое восприятие всего сущего.

О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это все, что здесь мы сберегли...
И встает бывшее светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...

У него было еще много творческих планов, когда его жизнь внезапно оборвалась. Человек, смотревший на войну в глаза смерти, он не мог пройти мимо чужой беды: в местечке на юге Франции, где он жил летом, случился пожар. Саша Черный принял участие в его тушении, а вернувшись домой, умер от сердечного приступа. Смерть солдата, смерть поэта...

Такую писательскую судьбу, наверно, можно назвать удачной, ведь несмотря на жизненные невзгоды, преследовавшие его еще с отроческих лет, на годы войны, на несладкое эмигрантское житье-бытье Саша Черный всегда верно и честно служил литературе, не отступался от своих жизненных и творческих принципов, не предавал и не разменивал свой немалый талант. Именно поэтому он и интересен нынешнему читателю, его творчество достойно выдержало испытание временем.

Нельзя не согласиться со словами В. Набокова, редко находившего добрые слова о писателях-современниках, которому Саша Черный мягко и благожелательно помогал в начале его писательского пути: «от него осталось только несколько книг и тихая, прелестная тень».

Геннадий Калашников

Критику

*Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице.
В бока впился корсет...», —
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт – мужчина. Даже с бороною.*

<1909>

Всем нищим духом

Ламентации^[1]

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Пересматривать эстампы
И по клавишам бренчать, —

Щекоча мозги и чувство
Обаяньем красоты,
Лить душистый мед искусства
В бездну русской пустоты...

В книгах жизнь широким пиром
Тешит всех своих гостей,
Окружая их гарниром
Из страданья и страстей:

Смех, борьба и перемены,
С мясом вырван каждый клочок!
А у нас... углы да стены
И над ними потолок.

Но подчас, не веря мифам,
Так событий личных ждешь!
Заболеть бы, что ли, тифом,
Учинить бы, что ль, дебош?

В книгах гений Соловьевых^[2],
Гейне, Гёте и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.

На полотнах Магдалины^[3],
Сонм Мадонн, Венер и Фрин^[4],
А вокруг – кривые спины

Мутноглазых Акулин.

Где события *нашей* жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем Бога, ищем черта, [5]
Потеряв самих себя.

И с утра до поздней ночи
Все, от крошек до старух,
Углубив в страницы очи,
Небывалым дразнят дух.

В звуках музыки – страданье,
Боль любви и шепот грез,
А вокруг одно мычанье,
Стоны, храп и посвист лоз.

Отчего? Молчи идохни.
Рок – хозяин, ты – лишь раб.
Плюнь, ослепни и оглохни,
И ворочайся, как краб!

.....

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Перелистывать эстампы
И по клавишам бренчать.

Пробуждение весны^[6]

Вчера мой кот взглянул на календарь
И хвост трубою поднял моментально,
Потом подрал на лестницу, как встарь,
И завопил тепло и вакханально:
«Весенний брак! Гражданский брак!
Спешите, кошки, на чердак...»

И кактус мой – о, чудо из чудес! —
Залитый чаем и кофейной гущей,
Как новый Лазарь, взял да и воскрес^[7]
И с каждым днем прет из земли все пуще.
Зеленый шум... Я поражен:
«Как много дум наводит он!»^[8]

Уже с панелей смерзшуюся грязь,
Ругаясь, скалывают дворники лихие,
Уже ко мне забрел сегодня «князь»^[9],
Взял теплый шарф и лыжи беговые...
«Весна, весна! – пою, как бард. —
Несите зимний хлам в ломбард».

Сияет солнышко. Ей-богу, ничего!
Весенняя лазурь спугнула дым и копоть.
Мороз уже не щиплет никого,
Но многим нечего, как и зимою, лопать...
Деревья ждут... Гниет вода,
И пьяных больше, чем всегда.

Создатель мой! Спасибо за весну! —
Я думал, что она не возвратится, —
Но... дай сбежать в лесную тишину
От злобы дня, холеры и столицы!
Весенний ветер за дверьми...

В кого б влюбиться, черт возьми?

<1909>

Песня о поле

«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла Проблема Пола,
Румяная фефёла^[10],
И ржет навеселе.

Заерзали старушки,
Юнцы и дамы-душки
И прочий весь народ.
Виват, Проблема Пола!
Сплетайте вокруг подола
Веселый «Хоровод»^[11].

Ни слез, ни жертв, ни муки...
Подыдем знамя-брюки
Высоко над толпой.
Ах, нет доступней темы!
На ней сойдемся все мы —
И зрячий и слепой.

Научно и приятно,
Идейно и занятно —
Умей момент учесть:
Для слабенькой головки
В проблеме-мышеловке
Всегда приманка есть.

Анархист

Жил на свете анархист,
Красил бороду и щеки,
Ездил к немке в Териоки^[12]
И при этом был садист.

Вдоль затылка жались складки
На багровой полосе.
Ел за двух, носил перчатки —
Словом, делал то, что все.

Раз на вечере попович,
Молодой идеалист,
Обратился: «Петр Петрович,
Отчего вы анархист?»

Петр Петрович поднял брови
И, багровый, как бурак,
Оборвал на полуслове:
«Вы невежа и дурак!»

До реакции [\[13\]](#).

Пародия

Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.

Не топись, охранный воин, —
Воля улыбнется!
Полицейский! Будь покоен —
Старый гнет вернется...

<16 февраля 1906>

«Пьяный» вопрос^[14]

Мужичок, оставьте водку,
Пейте чай и шоколад.
Дума сделала находку:
Водка – гибель, водка – яд.

Мужичок, оставьте водку,
Водка портит Божий лик,
И уродует походку,
И коверкает язык.

Мужичок, оставьте водку,
Хлеба Боженька подаст
После дождичка в субботу...
Или «ближний» вам продаст.

Мужичок, оставьте водку,
Может быть (хотя навряд),
Дума сделает находку,
Что и голод тоже яд.

А пройдут еще два года —
Дума вспомнит: так и быть,
Для спасения народа
Надо тьму искоренить...

Засияет мир унылый —
Будет хлеб и свет для всех!
Мужичок, не смейся, милый,
Скептицизм – великий грех.

Сам префект винокурений^[15]
В Думе высказал: «Друзья,
Без культурных насаждений

С пьянством справиться нельзя...»

Значит... Что ж, однако, значит?
Что-то сбились мы слегка, —
Кто культуру в погреб прячет?
Не народ же... А пока —

Мужичок, глушите водку,
Как и все ее глушат,
В Думе просто драло плотку
Стадо правых жеребят.

Ах, я сделал сам находку:
Вы культурней их во всем —
Пусть вы пьете только водку,
А они коньяк и ром.

Начало 1908

СЛИШКОМ МНОГО

Слишком много резонерства
И дешевого фразерства,
Что фонтаном бьет в гостиных
В монологах скучно-длинных, —
Слишком много...

Слишком много безразличных,
Опустившихся, безличных,
С отупевшими сердцами,
С деревянными мозгами, —
Слишком много...

Слишком много паразитов,
Изуверов, иезуитов,
Патриотов-волкодавов,
Исполнителей-удавов, —
Слишком много...

Слишком много терпеливых,
Растерявшихся, трусливых,
Полувзглядов, полумнений,
Бесконечных точек зрений, —
Слишком много...

Слишком много слуг лукавых,
Крайних правых, жертв кровавых,
И растет в душе тревога,
Что терпения у Бога
Слишком много!

Читатели газет

Дороден. Блестящее темя.
В чинах. К подчиненным суров.
Читает он «Новое время»,
Не любит армян и жидов.

Ассессор^[16], сгибающий выю,
Фантом канцелярских бумаг,
Смирненно читает «Россию»^[17] —
Инако не мыслит. И благ.

Пенсне на носу деловые.
На чреве цепочка-массив.
Он держит в руках «Биржевые»^[18],
А в мыслях – «актив» и «пассив».

Кто между Харибдой и Сциллой^[19]
Умеет свой челн уберечь
И болен крамольной бациллой —
Читает коварную «Речь»^[20].

Но кто он – простак, обыватель
(Его очернить не берусь!),
Кто конкурсных премий искатель,
Читающий «Новую Русь»^[21]?!

Лишенный особой приметы
Купец, дворянин иль плебей —
В листах «Петербургской газеты»^[22]
Находит богатство идей.

Приказчик, швейцар, полицейский,
Трактир, живорыбный садок,
Ремесленник, писарь армейский, —

Для них – «Петербургский листок»^[23].

Смазные ботфорты, рубаха
И волос, подстриженный в круг.
В смятенье понятного страха
Вы зрите «союзника»^[24] вдруг.

Он дико вращает глазами,
Вздуваются жилы на лбу...
И, комкая «Русское знамя»^[25],
Рычит он: «Жида!.. Расшибу!..»

<1909>

На Елагином^[26]

Не справляясь с желаньем начальства,
Лезут почки из сморщенных палок,
Под кустами – какое нахальство! —
Незаконное скопище галок.
Ручейков нелегальные шайки
Возмутительно действуют скопом
И, бурля, заливают лужайки
Лиловатым, веселым потопом.
Бесцензурно чирикают птицы,
Мчатся стаи беспаспортных рыбок,
И Нева контрабандно струится
В лоно моря для бешеных сшибок...
А вверху, за откосом, моторы
Завели трескотню-перестрелку
И, воня бензином в просторы,
Бюрократов уносят на Стрелку^[27].
Отлетают испуганно птицы,
Рог визжит, как зарезанный боров,
И брезгливо-обрюзгшие лица
Хмуро смотрят в затылки шоферов.

* * *

*Это не было сходство, допустимое
даже в лесу, – это было тождество, это
было безумное превращение одного в двоих.*

Л. Андреев.

«Проклятие зверя»^[28]

Все в штанах, скроённых одинаково,
При усах, в пальто и в котелках.
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах...

Как бы мне не обменяться личностью:
Он войдет в меня, а я в него, —
Я охвачен полной безразличностью
И боюсь решительно всего...

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак!..

В лес! К озерам и девственным елям!
Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам.
Надоело ходить по шаблонным панелям
И смотреть на подкрашенных дам!

Принесет мне ворона швейцарского сыра,
У заблудшей козы надою молока.
Если к вечеру станет прохладно и сыро,
Обложу себе мохом бока.

Там не будет газетных статей и отчетов.

Можно лечь под сосной и немножко повыть,
Иль украсть из дупла вкусно пахнущих сотов,
Или землю от скуки порыть...

А настанет зима – упираться не стану:
Буду голоден, сир, малокровен и гол —
И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану^[29]:
У него даровая квартира и стол.

И скажу: «Лейтенант! Я – российский писатель,
Я без паспорта в лес из столицы ушел,
Я устал как собака и – веришь, приятель, —
Как семьсот аллигаторов зол!

Люди в городе гибнут, как жалкие слизни,
Я хотел свою старую шкуру спасти.
Лейтенант! Я бежал от бессмысленной жизни
И к тебе захожу по пути...»

Мудрый Глан ничего мне на это не скажет,
Принесет мне дичины, вина, творогу...
Только пусть меня Глан основательно свяжет,
А иначе – я в город сбегу.

<1908>

Опять...

Опять опадают кусты и деревья,
Бронхитное небо слезится опять,
И дачники, бросив сырые кочевья,
Бегут, ошалевшие, вспять.

Опять, перестроив и душу, и тело
(Цветочки и летнее солнце – увьи!),
Творим городское, ненужное дело
До новой весенней травы.

Начало сезона. Ни света, ни красок,
Как призраки, носятся тени людей, —
Опять одинаковость сереньких масок
От гения до лошадей.

По улицам шляется смерть. Проклинает
Безрадостный город и жизнь без надежд,
С презрением, зевая, на землю толкает
Несчастных, случайных невежд.

А рядом духовная смерть свирепеет
И сослепу косит, пьяна и сильна.
Всё мало и мало – коса не тупеет,
И даль безнадежно черна.

Что будет? Опять соберутся Гучковы^[30]
И мелочи будут, скучая, жевать,
А мелочи будут сплетаться в оковы,
И их никому не порвать.

О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный,

И в страхе, что это навек,

В мучительной жажде надежды и красок

Выходит на улицу, ищет людей...

Как страшно найти одинаковость масок

От гения до лошадей!

<1908>

Культурная работа

Утро. Мутные стекла как бельма,
Самовар на столе замолчал.
Прочел о визитах Вильгельма^[31]
И сразу смертельно устал.

Шагал от дверей до окошка,
Барабанил марш по стеклу
И следил, как хозяйская кошка
Ловила свой хвост на полу.

Свистал. Рассматривал тупо
Комод, «Остров мертвых»^[32], кровать.
Это было и скучно и глупо —
И опять начинал я шагать.

Взял Маркса. Поставил на полку.
Взял Гёте – и тоже назад.
Зевая, подглядывал в щелку,
Как соседка пила шоколад.

Напялил пиджак и пальтишко
И вышел. Думал, курил...
При мне какой-то мальчишка
На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал,
Махал рукой, возмущался
И карточку приставу дал.

Пошел на выставку. Злился.
Ругал бездарность и ложь.
Обедал. Со скуки напился

И качался, как спелая рожь.

Поплелся к приятелю в гости,
Говорил о холере, добре,
Гучкове^[33], Урьеле д'Акосте^[34] —
И домой пришел на заре.

Утро... Мутные стекла как бельма.
Кипит самовар. Рядом «Русь»^[35]
С речами того же Вильгельма.
Встаю – и снова тружусь.

<1908>

Желтый дом

Семья – ералаш, а знакомые – нытики,
Смешной карнавал мелюзги,
От службы, от дружбы, от прелой политики
Безмерно устали мозги.
Возьмешь ли книжку – муть и мразь:
Один кота хоронит,
Другой слюнит, разводит грязь
И сладострастно стонет...

Петр Великий, Петр Великий!
Ты один виновней всех:
Для чего на север дикий
Понесло тебя на грех?
Восемь месяцев зима, вместо фиников – морошка,
Холод, слизь, дожди и тьма – так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой...
Негодую, негодую... Что же дальше, Боже мой?!

Каждый день по ложке керосина
Пьем отраву тусклых мелочей...
Под разврат бессмысленных речей
Человек тупеет, как скотина...

Есть парламент, нет? Бог весть, [\[36\]](#)
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска – я знаю – есть,
И бессилье гнева есть...
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть.

Где наше – близкое, милое, кровное?
Где наше – свое, бесконечно любовное?
Гучковы [\[37\]](#), Дума, слякоть, тьма, морошка...

Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?

<1908>

Зеркало

Кто в трамвае, как акула,
Отвратительно зевает?
То зевает друг-читатель
Над скучнейшею газетой.

Он жует ее в трамвае,
Дома, в бане и на службе,
В ресторанах, и в экспрессе,
И в отдельном кабинете.

Каждый день с утра он знает,
С кем обедал Франц-Иосиф^[38]
И какую глупость в Думе
Толстый Бобринский^[39] сморозил...

Каждый день, впиваясь в строчки,
Он плуеет и умнеет:
Если автор глуп – плуеет,
Если умница – умнеет.

Но порою друг-читатель
Головой мотает злобно
И ругает, как извозчик,
Современные газеты.

«К черту! То ли дело Запад
И испанские газеты...»
(Кстати – он силен в испанском,
Как испанская корова.)

Друг-читатель! Не ругайся,
Вынь-ка зеркальце складное.
Видишь – в нем зловеще меркнет

Кто-то хмурый и безликий?

Кто-то хмурый и безликий,
Не испанец, о, нисколько,
Но скорее бык испанский,
Обреченный на закланье.

Прочитай: в глазах-гляделках
Много ль мыслей, смеха, сердца?
Не брани же, друг-читатель.
Современные газеты...

<1908>

Споры

Каждый прав и каждый виноват.
Все полны обидным снисхождением
И, мешая истину с плумленьем,
До конца обидеться спешат.

Эти споры – споры без исхода,
С правдой, с тьмой, с людьми, с самим собой,
Изнуряют тщетною борьбой
И пугают нищенством прихода.

По домам бессильно разбираясь,
Мы нашли ли собственный ответ?
Что ж слепые наши «да» и «нет»
Разбрелись, убого спотыкаясь?

Или мысли наши – жернова?
Или спор – особое искусство,
Чтоб, калеча мысль и теша чувство,
Без конца низать случайные слова?

Если б были мы немного проще,
Если б мы учились понимать,
Мы могли бы в жизни не блуждать,
Словно дети в незнакомой роще.

Вновь забытый образ вырастает:
Притаилась Истина в углу,
И с тоской глядит в пустую мглу,
И лицо руками закрывает...

Интеллигент

Повернувшись спиной к обманувшей надежде
И беспомощно свесив усталый язык,
Не раздевшись, он спит в европейской одежде
И храпит, как больной паровик.

Истомила Идея бесплодием интрижек,
По углам паутина ленивой тоски,
На полу вороха неразрезанных книжек
И разбитых скрижалей^[40] куски.

За окном непогода лютеет и злится...
Стены прочны, и мягок пружинный диван.
Под осеннюю бурю так сладостно спится
Всем, кто бледной усталостью пьян.

Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету,
Отчего ты так страшно и тупо устал?
За несбыточным счастьем гонялся по свету
Или, может быть, землю пахал?

Дрогнул рот. Разомкнулись тяжелые вежды,
Монотонные звуки уныло текут:
«Брат! Одну за другой хоронил я надежды.
Брат! От этого больше всего устают.

Были яркие речи и смелые жесты
И неполных желаний шальной хоровод.
Я жених непришедшей прекрасной невесты^[41],
Я больной, утомленный урод».

Смолк. А буря всё громче стучалась в окошко.
Билась мысль, разгораясь и снова таясь.
И сказал я, краснея, тоскуя и злясь:

«Брат! Подвинься немножко».

1908

Родился карлик Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод,
Тоскливый шут и скептик,
Мудрец и эпилептик.

«Так вот он – милый Божий свет?
А где же солнце? Солнца нет!
А впрочем, я не первый,
Не стоит портить нервы».

И люди людям в этот час
Бросали: «С Новым Годом вас!»
Кто честно заикаясь,
Кто кисло ухмыляясь...

Ну как же тут не поздравлять?
Двенадцать месяцев опять
Мы будем спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

От мудрых, средних и ослов
Родятся реки старых слов,
Но кто еще, как прежде,
Пойдет кутить к надежде?

Ах, милый, хилый Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод!
Зажги среди тумана
Цветной фонарь обмана.

Зажги! Мы ждали много лет —
Быть может, солнца вовсе нет?
Дай чуда! Ведь бывало

Чудес в веках немало...

Какой ты старый, Новый Год!
Ведь мы равно наоборот
Считать могли бы годы,
Не исказив природы.

Да... Много мудрого у нас...
А впрочем, с Новым Годом вас!
Давайте спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

1908

Два желания [\[42\]](#)

1

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты...
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.

2

Сжечь корабли и впереди, и сзади,
Лечь на кровать, не глядя ни на что,
Уснуть без снов и, любопытства ради,
Проснуться лет чрез сто.

<1909>

Простые слова ^[43]

В наши дни трехмесячных успехов
И развязных гениев пера
Ты один, тревожно-мудрый Чехов,
С каждым днем нам ближе, чем вчера...

Сам не веришь, но зовешь и будишь,
Разрываешь ямы до конца
И с беспомощной усмешкой тихо судишь
Оскорбивших землю и Отца.

Вот ты жил меж нами, нежный, ясный,
Бесконечно ясный и простой, —
Видел мир наш хмурый и несчастный,
Отравлялся нашей наготой.

И ушел! Но нам больней и хуже:
Много книг, о, слишком много книг!
С каждым днем проклятый круг всё уже
И не сбросить «чеховских» вериг...

Ты хоть мог, вскрывая торопливо
Гнойники, — смеяться, плакать, мстить, —
Но теперь всё вскрыто. Как тоскливо
Видеть, зная, не ждать и молча гнить!

Бессмертие

Бессмертье? Вам, двуногие кроты,
Не стоящие дня земного срока?
Пожалуй, ящерицы, жабы и глисты
Того же захотят, обидевшись глубоко...

Мещане с крылышками! Пряники и рай!
Полвека жрали – и в награду вечность...
Торг не дурен. «Помилуй и подай!»
Подай рабам патент на бесконечность.

Тюремщики своей земной тюрьмы,
Грызущие друг друга в каждой щели,
Украли у пророков их псалмы,
Чтоб бормотать их в храмах раз в неделю...

Нам, зрячим, – бесконечная печаль,
А им, слепым, – бенгальские надежды,
Сусальная сияющая даль,
Гарантированные брачные одежды!..

Не клянчите! Господь и мудр, и строг, —
Земные дни бездарны и убоги,
Не пустит вас Господь и на порог,
Сгниете все, как падаль, у дороги.

Утешение

Жизнь бесцветна? Надо, друг мой,
Быть упорным и искать:
Раза два в году ты можешь,
Как король, торжествовать...

Если где-нибудь случайно —
В маскараде иль в гостях,
На площадке ли вагона,
Иль на палубных досках —
Ты столкнешься с человеком
Благородным и простым,
До конца во всем свободным,
Сильным, умным и живым,
Накупи бенгальских спичек,
Закажи оркестру туш,
Маслом розовым намажься
И прими ликерный душ!

Десять дней ходи во фраке,
Нищим сто рублей раздай,
Смейся в горьком умиленье
И от радости рыдай...

Раза два в году – не шутка,
А при счастье – три и пять.
Надо только, друг мой бедный,
Быть упорным и искать.

Диета

Каждый месяц к сроку надо
Подписаться на газеты.
В них подробные ответы
На любую немощ стада.

Боговздорец^[44] иль политик,
Радикал иль черный рак^[45],
Гениальный иль дурак,
Оптимист иль кислый нытик —
На газетной простыне
Все найдут свое вполне.

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Я с улыбкой благодатной,
Бандероли не вскрывая,
Аккуратно, не читая,
Их бросаю за буфет.

Целый месяц эту пробу
Я проделал. Оживаю!
Потерял слепую злобу,
Сам себя не истязую;
Появился аппетит,
Даже мысли появились...
Снова щеки округлились, —
И печенка не болит.

В безвозмездное владенье
Отдаю я средство это
Всем, кто чахнет без просвета
Над унылым отраженьем
Жизни мерзкой и гнилой,

Дикой, глупой, скучной, злой...

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Бандероли не вскрывая,
Вы спокойно, не читая,
Их бросайте за буфет.

<1910>

БЫТ

Мясо

Шарж

Брандахлысты^[46] в белых брючках
В лаун-теннисном азарте
Носят жирные зады.

Вкруг площадки, в модных штучках,
Крутобедрые Астарты^[47],
Как в торговые ряды,

Зазывают кавалеров
И глазами, и боками,
Обещая *всё* для *всех*.

И гирлянды офицеров,
Томно дрыгая ногами,
«Сладкий празднуют успех».

В лакированных копытах
Ржут пажы^[48] и роют гравий,
Изгибаясь, как лоза, —

На раскормленных досыта
Содержанок, в модной славе,
Щуря сальные глаза.

Щеки, шеи, подбородки,
Водопадом в бюст свергаясь,
Пропадают в животе,

Колыхаются, как лодки,
И, шелками выпираясь,
Вопиют о красоте.

Как ходячие шнель-клопсы^[49],
На коротких, пухлых ножках
(Вот хозяек дубликат!)

Грандиознейшие мопсы
Отдыхают на дорожках
И с достоинством хрипят.

Шипр и пот, французский говор...
Старый хрен в английском платье
Гладит ляжку и мычит.

Дипломат, шпион иль повар?
Но без формы люди – братья, —
Кто их, к черту, различит?..

Как наполненные ведра,
Растопыренные бюсты
Проплывают без конца —

И опять зады и бедра...
Но над ними – будь им пусто! —
Ни единого лица!

Июль 1909

Гунгербург

Всероссийское горе

*Всем добрым знакомым с отчаянием
посвящаю*

Итак – начинается утро.
Чужой, как река Брахмапутра^[50],
В двенадцать влетает знакомый.
«Вы дома?» К несчастью, я дома.
В кармане послав ему фигу,
Бросаю немецкую книгу
И слушаю, вял и суров,
Набор из ненужных мне слов.
Вчера он торчал на концерте —
Ему не терпелось до смерти
Обрушить на нервы мои
Дешевые чувства свои.

Обрушил! Ах, в два пополудни
Мозги мои были как студни...
Но, дверь запирая за ним
И жаждой работы томим,
Услышал я новый звонок:
Пришел первокурсник-щенок.
Несчастный влюбился в кого-то...
С багровым лицом идиота
Кричал он о «ней», о богине,
А я ее толстой гусыней
В душе называл беспощадно...
Не слушал! С улыбкою стадной
Кивал головою сердечно
И мямлил: «Конечно, конечно».

В четыре ушел он... В четыре!
Как тигр я шагал по квартире,

В пять ожил и, вытерев пот,
За прерванный сел перевод.
Звонок... С добродушием ведьмы
Встречаю поэта в передней.
Сегодня собрат именинник
И просит дать взаймы полтинник.
«С восторгом!» Но он... остается!
В столовую томно плетется,
Извлек из-за пазухи кипу
И с хрипом, и сипом, и скрипом
Читает, читает, читает...
А бес меня в сердце толкает:
Ударь его лампою в ухо!
Всади кочергу ему в брюхо!

Квартира? Танцкласс ли? Харчевня?
Прилезла рябая девица:
Нечаянно «Месяц в деревне»^[51]
Прочла и пришла «поделиться»...
Зачем она замуж не вышла?
Зачем (под лопатки ей дышло!),
Ко мне направляясь, сначала
Она под трамвай не попала?
Звонок... Шаромыжник^[52] бродячий,
Случайный знакомый по даче,
Разделся, подсел к фортепьяно
И лупит. Не правда ли, странно?
Какие-то люди звонили.
Какие-то люди входили.
Боясь, что кого-нибудь плюхну,
Я бегал тихонько на кухню
И плакал за вьюшкой грязной
Над жизнью своей безобразной.

Обстановочка [53]

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом.
Жена на локоны взяла последний рубль.
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.

Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.

Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка Божия не кушала с утра).
На блюде киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.

Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастья полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орет.

Безбровая сестра в облезшей кацавейке
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс: «Пойми мою печаль!»

Как не понять?! В столовой тараканы,
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

Служба сборов

Начальник Акцептации^[54] сердит:
Нашел просчет в копейку у Орлова.
Орлов уныло бровью шевелит
И про себя бранится: «Ишь, бандит!»
Но из себя не выпустит ни слова.

Вокруг сухой, костлявый, drobный треск —
Как пальцы мертвецов, бряцают счеты.
Начальнической плечи строгий блеск
С бычачьим лбом сливается в гротеск, —
Но у Орлова любоваться нет охоты.

Конторщик Кузькин бесконечно рад:
Орлов на лестнице сказал его невесте,
Что Кузькин как товарищ – хам и гад,
А как мужчина – жаба и кастрат...
Ах, может быть, Орлов лишится места!

В соседнем отделении содом:
Три таксировщика^[55], увлекшись чехардою,
Бодают пол. Четвертый же, с трудом
Соблазн преодолев, с досадой и стыдом
Им укоризненно кивает бородою.

Но в коридоре тьма и тишина.
Под вешалкой таинственная пара —
Он руки растопырил, а *она*
Щемящим голосом взывает: «Я жена...
И муж не вынесет подобного удара!»

По лестницам красавицы снуют,
Пышнее и вульгарнее гортензий.
Их сослуживцы «фаворитками» зовут —

Они не трудятся, не сеют – только жнут.
Любимицы Начальника Претензий...

В буфете чавкают, жуют, сосут, мычат.
Берут пирожные в надежде на прибавку.
Капуста и табак смешались в едкий чад.
Канторщицы ругают шоколад
И бюст буфетчицы, дрожащий на прилавке...

Второй этаж. Дубовый кабинет.
Гигантский стол. Начальник Службы Сборов,
Поймав двух мух, покуда дела нет,
Пытается определить на свет,
Какого пола жертвы острых взоров.

Внизу в прихожей бывший гимназист
Стоит перед швейцаром без фуражки.
Швейцар откормлен, груб и неречист:
«Ведь грамотный, поди, не трубочист!
«Нет мест» – вон на стекле висит бумажка».

Окраина Петербурга

Время года неизвестно.
Мгла клубится пеленой.
С неба падает отвесно
Мелкий бисер водяной.

Фонари горят как бельма,
Липкий смрад навис кругом,
За рубашку ветер-шельма
Лезет острым холодком.

Пьяный чуйка^[56] обнял нежно
Мокрый столб – и голосит.
Бесконечно, безнадежно
Кислый дождик моросит...

Поливает стены, крыши,
Землю, дрожки, лошадей.
Из ночной пивной всё лише
Граммфон хрипит, злодей.

«Па-ца-луем дай забвенье!»
Прямо за сердце берет.
На панели тоже пенье:
Проститутку дворник бьет.

Брань и звуки заушений...
И на них из всех дверей
Побежали светотени
Жадных к зрелищу зверей.

Смех, советы, прибаутки,
Хлипкий плач, свистки и вой
Мчится к бедной проститутке

Постовой городской.

Увели... Темно и тихо.
Лишь в ночной пивной вдали
Граммфон выводит лихо:
«Муки сердца утоли!»

<1910>

На открытии выставки

Дамы в шляпках «кэк-уоках»^[57].
Холодок публичных глаз,
Лица в складках и отеках,
Трены^[58], перья, ленты, газ.
В незначительных намеках —
Штемпеля готовых фраз.

Кисло-сладкие мужчины,
Знаменитости без лиц,
Строят знающие мины,
С видом слушающих птиц
Шевелюры клонят ниц
И исследуют причины.

На стенах упорный труд —
Вдохновенье и бездарность...
Пусть же мудрый и верблюдо
Совершают строгий суд:
Отрицанье, благодарность
Или звонкий словоблуд...

Умиравший больной.
Фиолетовые свиньи.
Стая галок над копной.
Блюдо раков. Пьяный Ной^[59].
Бюст молочницы Аксины,
И кобыла под сосной.

Вдохновенное Nocturno^[60],
Рядом рыжий пиджачок,
Растопыренный над урной...
Дама смотрит в кулачок
И рассеянным: «Недурно!» —

Налепляет ярлычок.

Да? Недурно? Что – Nocturno?

Иль яичница-пиджак?

Генерал вздыхает бурно

И уводит даму. Так...

А сосед глядит в кулак

И ругается цензурно...

<1908>

Жизнь

У двух проституток сидят гимназисты:
Дудиленко, Барсов и Блок.
На Маше – персидская шаль и монисто,
На Даше – боа^[61] и платок.

Оплыли железнодорожные свечи.
Увлечшись азартным банчком^[62],
Склоненные головы, шеи и плечи
Следят за чужим пяточком.

Играют без шулерства. Хочется люто
Порой игроку сплутовать.
Да жутко! В миг с хохотом бедного плута
Засунут силком под кровать.

Лежи, как в берлоге, и с завистью острой
Следи за игрой и вздыхай, —
А там на заманчивой скатерти пестрой
Баранки, и карты, и чай...

Темнеют уютными складками платья.
Две девичьих русых косы.
Как будто без взрослых здесь сестры и братья
В тиши коротают часы.

Да только по стенкам висят офицеры...
Не много ли их для сестер?
На смятой подушке бутылка мадеры,
И страшно затоптан ковер.

Стук в двери. «Ну, други, простите, к нам гости!»
Дудиленко, Барсов и Блок
Встают, торопясь, и без желчи и злости

Уходят готовить урок.

<1910>

На вербе^[63].

Бородатые чуйки^[64] с голодными глазами
Хрипло предлагают «животрепещущих докторов»^[65],
Гимназисты поводят бумажными усами,
Горничные стреляют в суконных юнкеров.

Шаткие лари, сколоченные наскоро,
Холерного вида пряники и халва,
Грязь под ногами хлюпает так ласково,
И на плечах болтается чужая голова.

Червонные рыбки из стеклянной обители
Грустно-испуганно смотрят на толпу.
«Вот замечательные американские жители^[66] —
Глотают камни и гвозди, как крупу!»

Писаря выражаются вдохновенно-изысканно,
Знакомятся с модистками и переходят на ты,
Сгущенный воздух переполнился писками,
Кричат бирюзовые бумажные цветы.

Деревья вздрагивают черными ветками,
Капли и бумажки падают в грязь.
Чужие люди толкуются между клетками
И месят ногами пеструю мазь.

Пасхальный перезвон

Пан-пьян! Красные яички.
Пьян-пан! Красные носы.
Били-бьют! Радостные личики.
Бьют-били! Груды колбасы.

Дал-дам! Праздничные взятки.
Дам-дал! И этим и тем.
Пили-ели! Визиты в перчатках.
Ели-пили! Водка и крем.

Пан-пьян! Наливки и студни.
Пьян-пан! Боль в животе.
Били-бьют! И снова будни.
Бьют-били! Конец мечте.

<1909>

Городская сказка

Профиль тоньше камеи,
Глаза как спелые сливы,
Шея белее лилеи
И стан как у леди Годивы^[67].

Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра,
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.

Пришел к мадонне филолог,
Фаддей Симеонович Смяткин.
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился по пятки.

Влюбился жестоко и сразу
В глаза ее, губы и уши,
Цедил за фразою фразу,
Томился, как рыба на суше.

Хотелось быть ее чашкой,
Братом ее или теткой,
Ее эмалевой пряжкой
И даже зубной ее щеткой!..

«Устали, Варвара Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!» —
Шепнул филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.

«Устала. Вскрывала студента:
Труп был жирный и дряблый.
Холод... Сталь инструмента. —

Руки, конечно, иззябли.

Потом у Калинкина моста^[68]
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было до ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?

Спички лежат на окошке.
Ну, вот. Вернулась обратно,
Вынула почки у кошки
И зашила ее аккуратно.

Затем мне с подругой достались
Препараты гнилой пуповины.
Потом... был скучный анализ:
Выделение в моче мочевины...

Ах, я! Прошу извиненья:
Я роль хозяйки забыла, —
Коллега! Возьмите варенья —
Сама сегодня варила».

Фаддей Симеонович Смяткин
Сказал беззвучно: «Спасибо!»
А в горле ком кисло-сладкий
Бился, как в неводе рыба.

Не хотелось быть ее чашкой,
Ни братом ее и ни теткой,
Ни ее эмалевой пряжкой,
Ни зубной ее щеткой!

В гостях *(Петербург)*

Холостой стаканчик чаю
(Хоть бы капля коньяку),
На стене босой Толстой^[69].
Добросовестно скучаю
И зеленую тоску
Заедаю колбасой.

Адвокат ведет с коллегой
Специальный разговор.
Разорвись – а не поймешь!
А хозяйка с томной негой,
Устремив на лампу взор,
Поправляет бюст и брошь.

«Прочитали Метерлинка^[70]?»
– «Да. Спасибо, прочитал...»
– «О, какая красота!»
И хозяйкина ботинка
Взволновалась, словно в шквал.
Лжет ботинка, лгут уста...

У рояля дочь в реформе,
Взяв рассеянно аккорд,
Стилизованно молчит.
Старичок в военной форме
Прежде всех побил рекорд —
За экран залез и спит.

Толстый доктор по ошибке
Жмет мне ногу под столом.
Я страдаю и терплю.
Инженер зудит на скрипке.

Примирайсь и с этим злом,
Я и бодрствую, и сплю.

Что бы вслух сказать такое?
Ну-ка, опыт, выручай!
«Попрошу... еще стакан...»
Ем вчерашнее жаркое,
Кротко пью холодный чай
И молчу, как истукан.

<1908>

Европеец

В трамвае, набитом битком,
Средь двух гимназисток, бочком,
Сижу в настроенье прекрасном.

Панама сползает на лоб.
Я – адски пленительный сноб,
В накидке и в галстукe красном.

Пассаж^[71] не спеша осмотрев,
Вхожу к «Доминику»^[72], как лев,
Пью портер, малагу и виски.

По карте, с достоинством ем
Сосиски в томате и крем,
Пулярдку и снова сосиски.

Раздуло утробу копной...
Сановный швейцар предо мной
Толкает бесшумные двери.

Умаявшись, сыт и сонлив,
И руки в штаны заложив,
Сижу в Александровском сквере^[73].

Где б вечер сегодня убить?
В «Аквариум»^[74], что ли, сходить?
Иль, может быть, к Мери слетаю?

В раздумье на мамок смотрю,
Вздыхаю, зеваю, курю
И «Новое время»^[75] читаю...

Шварц^[76], Персия, Турция... Чушь!

Разносчик! Десяточек груш...
Какие прекрасные грушки!

А завтра в двенадцать часов
На службу явиться готов,
Чертить на листах завитушки.

Однако: без четверти шесть.
Пойду-ка к «Медведю»^[77] поесть,
А после – за галстуком к Кнопку^[78].

Ну как в Петербурге не жить?
Ну как Петербург не любить
Как русский намек на Европу?

<1910>

Мухи

На дачной скрипучей веранде
Весь вечер царит оживленье.
К глазастой художнице Ванде
Случайно сползлись в воскресенье
Провизор, курсистка, певица,
Писатель, дантист и девица.

«Хотите вина иль печенья?» —
Спросила писателя Ванда,
Подумав в жестоком смущенье:
«Налезла огромная банда!
Пожалуй, на столько баранов
Не хватит ножей и стаканов».

Курсистка упорно жевала.
Косясь на остатки от торта,
Решила спокойно и вяло:
«Буржуйка последнего сорта».
Девица с азартом макаки
Смотрела писателю в баки.

Писатель, за дверью на полке
Не видя своих сочинений,
Подумал привычно и колко:
«Отсталость!» И стал в отдаленье,
Засунувши гордые руки
В триковые стильные брюки.

Провизор, влюбленный и потный,
Исследовал шею хозяйки,
Мечтая в истоме дремотной:
«Ей-богу, совсем как из лайки!..
О, если б немножко потрогать!»

И вилкою чистил свой ноготь.

Певица пускала рулады
Всё реже, и реже, и реже.
Потом, покраснев от досады,
Замолкла: «Не просят! Невежи...
Мещане без вкуса и чувства!
Для них ли святое искусство?»

Наелись. Спустились с веранды
К измученной пыльной сирени.
В глазах умирающей Ванды
Любезность, тоска и презренье:

«Свести их к пруду иль в беседку?
Спустить ли с веревки Валетку?»

Уселись под старой сосною.
Писатель сказал: «Как в романе...»
Девушка вильнула спиною,
Провизор порылся в кармане
И чиркнул над кислой певичкой
Бенгальскою красною спичкой.

<1910>

«Смех сквозь слезы»^[79]
(1809–1909)

Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Когда б сейчас из гроба встать ты мог,
Любой прыщавый декадентский щеголь
Сказал бы: «Э, какой он, к черту, бог?
Знал быт, владел пером, страдал. Какая редкость!
А стиль, напевность, а прозрения печать,
А темно-звонких слов изысканная меткость?..
Нет, старичок... Ложитесь в гроб опять!»

Есть между ними, правда, и такие,
Что дерзко от тебя ведут свой тусклый род
И, лицемерно пред тобой согнувши выи,
Мечтают сладенько: «Придет и мой черед!»
Но от таких «своих», дешевых и развязных,
Удрал бы ты, как Подколесин, чрез окно...^[80]
Царят! Бог их прости, больных, пустых и грязных,
А нам они наскучили давно.

Пусть их шумят... Но где *твои* герои?
Все живы ли, иль, небо прокоптив,
В углах медвежьих сгнили на покое
Под сенью благостной крестьянских тучных нив?
Живут... И как живут! Ты, встав сейчас из гроба,
Ни одного из них, наверно б, не узнал:
Павлуша Чичиков – сановная особа
И в интендантстве патриотом стал, —

На мертвых душ портянки поставляет
(Живым они, пожалуй, ни к чему),
Манилов в Третьей Думе^[81] заседает
И в председатели был избран... по уму^[82].

Петрушка сдуру сделался поэтом
И что-то мажет в «Золотом руне»^[83],
Ноздрев пошел в охранное^[84] – и в этом
Нашел свое призвание вполне.

Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте^[85]
И сам сапожников по праздникам сечет,
Чуб^[86] стал союзником и об еврейском гвалте
С большою эрудицией поет.
Жан Хлестаков работает в «России»^[87],
Затем – в «Осведомительном бюро»^[88],
Где чувствует себя совсем в родной стихии:
Разжился, раздобрел, – вот борзое перо!..

Одни лишь черти, Вий^[89] да ведьмы и русалки.
Попавши в плен к писателям modernes,
Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки,
Истасканные блудом мелких скверн...

Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Как хорошо, что ты не можешь встать...
Но *мы* живем! Боюсь – не слишком много ль
Нам надо слышать, видеть и молчать?

И в праздник твой, в твой праздник благородный,
С глубокой горечью хочу тебе сказать:
«Ты был для нас источник многоводный,
И мы к тебе пришли теперь опять, —
Но «смех сквозь слезы» радостью усталой
Не зазвонит твоим струнам в ответ...
Увы, увы... Слез более не стало,
И смеха нет».

Стилизованный осел ^[90]

Ария для безголосых

Голова моя – темный фонарь с перебитыми
стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными пьяными
Феклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.

Я волдырь на сиденье прекрасной российской
словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалезно-всемирной известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.

Я люблю апельсины и всё, что случайно рифмуется,
У меня темперамент макаки и нервы как сталь.
Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется
И вопит: «Не поэзия – шваль!»

Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,
Прыщ с головкой белее несказанно жженой магнезии
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.

Ах, словесные тонкие-звонкие фокусы-покусы!
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял – невежда. К нечистому!
Накося-выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...

Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,

Зарифмую всё это для стиля яичными смятками
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках...

<1908>

Недоразумение

Она была поэтесса,
Поэтесса бальзаковских лет^[91].
А он был просто повеса,
Курчавый и пылкий брюнет.

Повеса пришел к поэтессе.
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе^[92],
Поэтесса гнула стихи:

«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!

Я свежа, как дыханье левкоя...
О, сплетем же истомности тел!»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.

Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!
Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела...

С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек,
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!» —
Охладило кипучий поток.

«Простите... — вскочил он. — Вы сами...»
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,

Как дворник, с объятями лезть?!»

Вот чинная Мавра. И задом
Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом
Он долго искал свою трость...

С лицом белее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы бальзаковских лет.

<1909>

Переутомление

*Посв<ящается>
«популярностям»*

истисавшимся

Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать...
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать!

Патлы дыбом взлохмачены,
Отупел, как овца, —
Ах, все рифмы истрачены
До конца, до конца!..

Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда,
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда —
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.

Паралич спинного мозга!
Врешь, не сдамся! Пень-мигрень,
Бибель^[93] – стебель, мозга-розга,
Юбка-губка, тень-тюлень.

Рифму, рифму! Иссаюю —
К рифме тему сам найду...
Ногти в бешенстве кусаю
И в бессильном трансе жду.

Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский^[94] дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин^[95] – разбитым горшком...

Нет, не сдамся... Папа-мама,
Дратва-жатва, кровь-любовь,
Дама-рама-панорама,
Бровь, свекровь, морковь... носки!

<1908>

Два толка

Одни кричат: «Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи —
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»

Другие возражают: «Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди».

Им спора не решить... А жаль!
Ведь можно наливать... *вино в хрусталь.*

<1909>

Недержание

У поэта умерла жена...
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.

После похорон сел дома у окна,
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена».

<1909>

Сиропчик

*Дамам, чирикающим в детских
журналах*

Дама, качаясь на ветке,
Пикала: «Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик...
Птичка оправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку...»

Дети, в оконные рамы
Хмуро уставясь глазами,
Полны недетской печали.
Даме в молчанье внимали.
Вдруг зазвенел голосочек:
«Сколько напикала строчек?..»

<1910>

Корней белинский

Посвящается К. Чуковскому^[96].

В экзотике заглавий – пол-успеха^[97],
Пусть в ноздри бьет за тысячу шагов:
«Корявый буйвол», «Окуни без меха!»,
«Семен Юшкевич^[98] и охапка дров».

Закрыв глаза и перышком играя,
Впадая в деланный холодно-мутный транс,
Седлает линию... Ее зовут – кривая,
Она вывозит и блюдет баланс.

Начало? Гм... Тарас убил Андрея
Не за измену Сечи... Раз, два, три!
Но потому, что ксендз и два еврея
Держали с ним на сей предмет пари.

Ведь ново! Что-с? Акробатично ново!
Затем – смешок. Стежок. Опять смешок.
И вот – плоды случайного улова —
На белых нитках пляшет сотня строк.

Что дальше? Гм... Приступит к данной книжке,
Определит, что автор... мыловар,
И так смешно раздует мелочишки,
Что со страниц пойдет казанский пар.

Страница третья. Пятая. Шестая...
На сто шестнадцатой – «собака» через «ять»!
Так можно летом на стекле, скучая,
Мух двадцать, размахнувшись, в горсть поймать.

Надравши «стружек» кстати и некстати,

Потопчется еще с полсотни строк:
То выедет на английской цитате,
То с реверансом автору даст в бок.

Кустарит парадокс из парадокса...
Холодный пафос недомолвок – гол,
А хитрый гнев критического бокса
Всё рвется в истерический футбол...

И наконец, когда мелькнет надежда,
Что он сейчас поймает журавля,
Он вдруг смущенно потупляет вежды
И торопливо... сходит с корабля.

Post scriptum. Иногда Корней Белинский
Сечет господ, цена которым грош^[99], —
Тогда гремит в нем гений исполинский
И тогой с плеч спадает макинтош!

<1911>

Читатель

Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии^[100]
И не менее точно знаком
С настроением поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.

Словом, чтенья всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия^[101],
Говорят: здоровенный талант!
Да еще не мешало б Горация^[102] —
Тоже был, говорят, не без грации...
А Шекспир, а Сенека^[103], а Дант^[104]?

Утешаюсь одним лишь – к приятелям
(Чрезвычайно усердным читателям)
Как-то в клубе на днях я пристал:
«Кто читал Ювенала^[105], Вергилия?»
Но, увы (умолчу о фамилиях),
Оказалось – никто не читал!

Перебрал и иных для забавы я:
Кто припомнил обложку, заглавие,
Кто цитату, а кто анекдот,
Имена переводчиков, критику...
Перешли вообще на пиитику —
И поехали. Пылкий народ!

Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значение статьи Бородавкина

«О влиянье желудка на стиль»...

Утешенье, конечно, большущее...
Но в душе есть сознание сосущее,
Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
В суете моих пестреньких дней!

<1911>

Невольное признание

Гессен^[106] сидел с Милюковым^[107] в печали.
Оба курили, и оба молчали.

Гессен спросил его кротко, как Авель^[108]:
«Есть ли у нас конституция, Павел?»

Встал Милюков. Запинаясь от злобы,
Резко ответил: «Еще бы! Еще бы!»

Долго сидели в партийной печали.
Оба курили, и оба молчали.

Гессен опять придвигается ближе:
«Я никому не открою – скажи же!»

Раненый демон в зрачках Милюкова:
«Есть – для кадет! А о прочих ни слова...»

Мнительный взгляд на соратника бросив,
Вновь начинает прекрасный Иосиф^[109]:

«Есть ли...» Но слезы бегут по жилету —
На ухо Павел шепнул ему: «Нет!»

Обнялись нежно и в мирной печали
Долго курили и долго молчали.

Молитва^[110]

Благодарю Тебя, Создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель
И не сижу еще в тюрьме.

Благодарю Тебя, Могучий,
Что мне не вырвали язык,
Что я, как нищий, верю в случай
И к всякой мерзости привык.

Благодарю Тебя, Единый,
Что в Третью Думу^[111] я не взят, —
От всей души, с блаженной миной
Благодарю Тебя стократ.

Благодарю Тебя, мой Боже,
Что смертный час, гроза глупцов,
Из разлагающейся кожи
Исторгнет дух в конце концов.

И вот тогда, молю беззвучно,
Дай мне исчезнуть в черной мгле, —
В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.

Всё то же

В Государственном совете^[112] одним из первых будет разбираться дело о том, признаются ли Бестужевские курсы^[113] высшими. Спор этот ведется уже семь лет.

«Речь»

В средневековье шум и гам
Схоласты подняли в Париже:^[114]
Какого роста был Адам?
И был брюнет он или рыжий?

Где был Господь (каков Париж!)
До первых дней земли и неба?
И причащается ли мышь,
Поевшая святого хлеба?..

Возможно ль «высшими» иль нет
Признать Бестужевские курсы?
Иль, может быть, решит Совет
Назвать их корпусом иль бурсой^[115]?

Ведь курсы *высшие* – давно,
И в самом высшем смысле слова,
Ведь спорить с этим так смешно,
Как называть реку коровой.

Вставлять в колеса палки всем,
Конечно, «высшее» призванье, —
Но в данном случае совсем
Бессильно старое брюзжанье.

А впрочем... средние века

У нас гостят, как видно, цепко.
Но ведь корова не река —
И не в названье здесь зацепка...

<1909>

Веселая наглость

Русский народ мало трудится.

Марков^[116]. 2-й Съезд дворян^[117].

Ах, сквозь призму
Кретинизма
Гениально прост вопросец:
Наш народ – не богоносец,
А лентяй
И слюнтяй.

В самом деле, —
Еле-еле
Ковырять в земле сухой
Старомодною сохой —
Не работа,
А дремота.

У француза —
Кукуруза,
Виноград да лесопилки,
Паровые молотилки.
А у нас —
Лень да квас.

Лежебокам
За уроком
Что бы съездить за границу —
К шведам, к немцам или в Ниццу?
Не хотят —
Пьют да спят.

Иль со скуки
Хоть науки

Изучали бы, вороны:
Философию, законы...
Не желают:
Презирают!

Ну, ленивы!
Даже «Нивы»^[118]
Не хотят читать, обломы.
С Мережковским^[119] не знакомы!!
Только б жрать,
Только б спать.

Но сквозь призму
Критицизма
Вдруг вопрос родится яркий:
Как у этаких, как Марков,
Нет хвостов
И клыков?

Послания

Послание первое

Семь дней валяюсь на траве
Средь бледных незабудок,
Уснули мысли в голове,
И чуть ворчит желудок.

Песчаный пляж. Волна скулит,
А чайки ловят рыбу.
Вдали чиновный инвалид
Ведет супругу-плыбу.

Друзья! Прошу вас написать —
В развратном Петербурге
Такой же рай и благодать,
Как в тихом Гунгербурге^[120]?

Семь дней газет я не читал...
Скажите, дорогие,
Кто в Думе выкинул скандал,
Спасая честь России?

Народу школа не дана ль
За этот срок недельный?
Какая в моде этуаль?
И как вопрос земельный?

Ах, да – не вышли ль, наконец,
Все левые из Думы?
Не утомился ль Шварц^[121] – делец?
А турки?.. Не в Батуме?

Лежу, как лошадь, на траве —
Забыл о мире бренном,
Но кто-то ноет в голове:

Будь злым и современным...

Пишите ж, милые, скорей!
Условия суровы:
Ведь правый думский брадобрей
Скандал устроит новый...

Тогда, увы, и я и вы
Не будем современны.
Ах, горько мне вставать с травы
Для злобы дня презренной!

1908

Гунгербург

Послание второе

Хорошо сидеть под черной смородиной,
Дышать, как буйвол, полными легкими,
Наслаждаться старой, истрепанной «Родиной»^[122]
И следить за тучками легкомысленно-легкими.

Хорошо, обедаясь ледяной простоквашею,
Смотреть с веранды глазами порочными,
Как дворник Петер с кухаркой Агашею
Угощают друг друга поцелуями сочными.

Хорошо быть Агашей и дворником Петером,
Без драм, без принципов, без точек зрения,
Начав с конца роман перед вечером,
Окончить утром – дуэтом храпения.

Бросаю тарелку, томлюсь и завидую,
Надеваю шляпу и галстук сиреневый
И иду в курзал на свидание с Лидою,
Худосочной курсисткой с кожей шагреневоу.

Навстречу старухи, мордатые, злобные,
Волочат в песке одеянья суконные,
Отвратительно старые и отвисло-утробные,
Ползут и ползут, словно оводы сонные.

Где благородство и мудрость их старости?
Отжившее мясо в богатой материи
Заводит сатиру в ущелие ярости
И ведьм вызывает из тьмы суеверия...

А рядом юные, в прическах на валиках,
В поддельных локонах, с собачьими лицами,
Невинно шепчутся о местных скандаликах

И друг на друга косятся тигрицами.

Курзальные барышни, и жены, и матери!
Как вас нетрудно смешать с проститутками,
Как мелко и тинисто в вашем фарватере,
Набитом глупостью и предрассудками...

Фальшивит музыка. С кровавой обидою
Катится солнце за море вечернее.
Встречаюсь сумрачно с курсисткой Лидою —
И власть уныния больней и безмернее...

Опять о Думе, о жизни и родине,
Опять о принципах и точках зрения...
А я вздыхаю по черной смородине
И полон желчи, и полон презрения...

1908

Гунгербург

Послание третье

Ветерок набегающий
Шаловлив, как влюбленный прелат.
Адмирал отдыхающий
Поливает из лейки салат.

За зеленой оградой,
Растянувшись на пляже, как краб,
Полицмейстер с отрадой
Из песку лепит формочкой баб.

Средь столбов с перекладиной
Педагог на скрипучей доске
Кормит мопса говядиной,
С назиданьем при каждом куске.

Бюрократ в отдалении
Красит масляной краской балкон.
Я смотрю в удивлении
И не знаю: где правда, где сон?

Либеральную бороду
В глубочайшем раздумье щиплю...
Кто, приученный к городу,
В этот миг не сказал бы: «Я сплю»?

Жгут сомненья унылые,
Не дают развернуться мечте, —
Эти дачники милые
В городах совершенно не те!

Полицмейстер крамольников
Лепит там из воды и песку.
Вместо мопсов на школьников

Педагог нагоняет тоску.

Бюрократ черной краскою
Красит всю православную Русь...
Но... знакомый с развязкою —
За дальнейший рассказ не берусь.

1908

Гунгербург

Послание четвертое

Подводя итоги летом
Грустным промахам зимы,
Часто тешимся обетом,
Что *другими* будем мы.
Дух изношен, тело тоже,
В паутине меч и щит,
И в душе сильней и строже
Голос совести рычит.

Сколько дней ушло впустую...
В сердце лезли скорбь и злость,
Как в открытую пивную,
Где любой прохожий – гость.
В результате: жизнь ублюдка,
Одиноких мыслей яд,
Несварение желудка
И потухший, темный взгляд.

Баста! Лето... В семь встаю я,
В десять вечера ложусь,
С ленью бешено воюя,
Целый день, как вол, тружусь.
Чищу сад, копаю грядки,
Глажу старого кота
(А вчера играл в лошадки
И убил в лесу крота).

Водку пью перед едою
(Иногда – по вечерам)
И холодной водою
Обтираюсь по утрам.
Храбро зимние сомненья
Неврастеньей назвал вдруг,

А фундамент обновленья
Всё не начат... Недосуг...

Планы множатся, как блохи
(Май, июнь уже прошли).
Соберу ль от них хоть крохи?
Совесьть, совесьть, не скули!
Вам знакома повесть эта?
После тусклых дней зимы
Люди верят в силу лета
Лишь до новой зимней тьмы...

Кто желает объясненья
Этой странности земной,
Пусть приедет в воскресенье
Побеседовать со мной.

1908

Гунгербург

Послание пятое

Вчера играло солнце
И море голубело —
И дух тянулся к солнцу,
И радовалось тело.

И люди были лучше,
И мысли были сладки —
Вчера шальное солнце
Пекло во все лопатки.

Сегодня дождь и сырость...
Дрожат кусты от ветра,
И дух мой вниз катится
Быстрее баромётра.

Сегодня люди – гады,
Надежда спит сегодня —
Усталая надежда,
Накрашенная сводня.

Из веры, книг и жизни,
Из мрака и сомненья
Мы строим год за годом
Свое мировоззренье...

Зачем вчера при солнце
Я выгнал вон усталость,
Заигрывал с надеждой
И верил в небывалость?..

Горит закат сквозь тучи
Чахоточным румянцем.
Стою у злого моря

Циничным оборванцем.

Всё тучи, тучи, тучи...
Ругаться или плакать?
О, если б чаще солнце?
О, если б реже слякоть!

1908

Гунгербург

Провинция

Бульвары

Праздник. Франты гимназисты
Занимают все скамейки.
Снова тополи душисты,
Снова влюбчивы еврейки.

Пусть экзамены вернулись...
На тенистые бульвары,
Как и прежде, потянулись
Пары, пары, пары, пары...

Господа семинаристы
Голосисты и смешливы,
Но бонтонны^[123] гимназисты
И вдвойне красноречивы.

Назначают час свиданья,
Просят «веточку сирени»,
Давят руки на прощанье
И вздыхают, как тюлени.

Адъютантик благовонный
Увлечен усатой дамой.
Слышен голос заглушенный:
«Ах, не будьте столь упрямой!»

Обещает. О, конечно,
Даже кошки и собачки
Кое в чем небезупречны
После долгой зимней спячки...

Три акцизника^[124] портнихе
Отпускают комплименты.
Та бежит и шепчет тихо:

«А еще интеллигенты!»

Губернатор едет к тете.
Нежны кремовые^[125] брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

А в соседнем переулке
Тишина, и лень, и дрема.
Всё живое на прогулке,
И одни старушки дома.

Садик. Домик чуть заметен.
На скамье у старой елки
В упоенье новых сплетен
Две седые балаболки.

«Шмит к Серовой влез в окошко...
А еще интеллигенты!
Ночью, к девушке, как кошка...
Современные... Студенты!»

<1908>

Священная собственность

Беседка теснее скворешни.
Темны запыленные листья.
Блестят наливные черешни...
Приходит дородная Христя,
Приносит бутылку наливки,
Грибы, и малину, и сливки.

В поднос упираются дерзко
Преступно-прекрасные формы.
Смущенно, и робко, и мерзко
Уперлись глазами в забор мы...
Забыли грибы и бутылку,
И кровь приливает к затылку.

«Садитесь, Христина Петровна!» —
Потупясь, мы к ней обратились
(Все трое в нее поголовно
Давно уже насмерть влюбились),
Но молча косится четвертый:
Причины особого сорта...

Хозяин беседки и Христи,
Наливки, и сливок, и сада
Сжимает задумчиво кисти
А в сердце вползает досада:
«Ах, ешьте грибы и малину
И только оставьте Христину!»

При лампе

Три экстерна болтают руками,
А студент-оппонент
На диван завалился с ногами
И, сверкая цветными носками,
Говорит, говорит, говорит...

Первый видит спасенье в природе,
Но второй, потрясая икрой,
Уверяет, что только в народе.
Третий – в книгах и в личной свободе,
А студент возражает всем трем.

Лазарь Рóзенберг, рыжий и гибкий,
В стороне на окне
К Дине Блюм наклонился с улыбкой.
В их сердцах ангел страсти на скрипке
В первый раз вдохновенно играл.

В окна первые звезды мигали.
Лез жасмин из куртин.
Дина нежилась в маминой шали,
А у Лазаря зубы стучали
От любви, от великой любви!..

Звонко пробило четверть второго —
И студент-оппонент
Приступил, горячась до смешного,
К разделению шара земного.
Остальные устало молчали.

Дым табачный и свежесть ночная...
В стороне, на окне,
Разметалась забытая шаль, как больная,

И служанка внесла, на ходу засыпая,
Шестой самовар...

<1908>

Ранним утром [\[126\]](#)

Утро. В парке – песнь кукушкина.
Заперт сельтерский киоск.
Рядом – памятник Пушкина,
У подножья – пьяный в лоск:

Поудобнее притулится,
Посидит и упадет...
За оградой вьется улица,
А на улице народ:

Две дворянки, мама с дочкою,
Ковыляют на базар;
Водовоз, привстав над бочкою,
Мчится словно на пожар;

Простав с шашкою под мышкою,
Две свиньи, ветеринар.
Через час – «приготовишкою» [\[127\]](#)
Оживляется бульвар.

Сколько их, смешных и маленьких,
И какой сановный вид!
Вон толстяк в галошах-валенках
Ест свой завтрак и сопит.

Два – друг дружку лупят ранцами,
Третий книжки растерял,
И за это «оборванцами»
Встречный поп их обругал.

Солнце рдеет над березами.
Воздух чист, как серебро.
Тарахтит за водовозами

Беспокойное ведро.

На кентаврах раскоряченных
Прокатил архиерей,
По ошибке, страхом схваченный,
Низко шапку снял еврей.

С визгом пес пронесся мнительный —
«Гицель»^[128] выехал на лов.
Бочки. Запах подозрительный
Объясняет всё без слов.

Жизнь всё ярче разгорается:
Двух старушек в часть ведут,
В парке кто-то надывается —
Вероятно, морду бьют.

Тьма, как будто в Полинезии...
И отлично! Боже мой,
Разве мало здесь поэзии,
Самобытной и родной?!

<1909>

Лошади

Четыре кавалера
Дежурят возле сквера,
Но Вера не идет.

Друзья от скуки судят
Бока ее и груди,
Ресницы и живот.

«Невредная блондинка!»
– «Н-да-с, девочка с начинкой...»
– «Жаль только, не того-с!»

– «Шалишь, а та интрижка
С двоюродным братишкой?»
– «Ну, это, брат, вопрос».

Вдали мелькнула Вера.
Четыре кавалера
С изяществом стрекоз

Галантно подлетели
И сразу прямо к цели:
«Как спали, хорошо-с?»

– «А к вам, ха-ха, в окошко
Стучалась ночью кошка...»
– «С усами... ха-ха-ха!»

Краснеет Вера густо
И шепчет: «Будь вам пусто!
Какая чепуха...»

Подходит пятый лихо

И спрашивает тихо:
«Ну, как дела, друзья?»

Смеясь, шепнул четвертый:
«Морочит хуже черта —
Пока еще нельзя».

– «Смотри... Скрывать негоже!
Я в очереди тоже...»
– «Само собой, мой друг».

Пять форменных фуражек
И десять глупых ляжек
Замкнули Веру в круг.

<1910>

Из гимназических воспоминаний

Пансионеры дремлют у стены
(Их место – только злость и зависть прочим).
Стена – спасенье гимназической спины:
Приткнулся, и часы уже короче.

Но остальным, увы, как тяжело:
Переминаются, вздыхают, как тюлени,
И, чтоб немножко тело отошло,
Становятся громоздко на колени.

Инспектор в центре. Левый глаз, устал —
Косится правым. Некогда молиться!
Заметить надо тех, кто слишком вял,
И тех, кто не успел еще явиться.

На цыпочках к нему спешит с мольбой
Взволнованный малыш-приготовишка
(Ужели Смайльс^[129] не властен над тобой?!).
«Позвольте выйти!» Бедная мартышка...

Лишь за порог – всё громче и скорей
По коридору побежал вприпрыжку.
И злится надзиратель у дверей,
Его фамилию записывая в книжку.

На правом клиросе серебряный тенор
Солирует, как звонкий вешний ветер.
Альты за нотами, чтоб не увидел хор,
Поспешно пожирают «Gala Peter»^[130].

Но гимназистки молятся до слез
Под желчным оком красной классной дамы,
Изящные, как купы белых роз,

Несложные и нежные, как гаммы.

Порой лишь быстрый и лукавый глаз
Перемигнется с милovidным басом —
И рявкнет яростней воспламененный бас,
Условленным томим до боли часом.

Директор – бритый, дряхленький Кащей —
На левом клиросе увлекся разговором.
В косые нити солнечных лучей
Вплыл сизый дым и плавится над хором.

Усталость дует ласково в глаза.
Хор всё торопится – скорей, скорей, скорее...
Кружатся стены, пол и образа,
И грузные слоны сидят на шее.

<1910>

Виленский ребус

О Рахиль, твоя походка
Отдается в сердце четко...
Голос твой – как голубь кроткий,
Стан твой – тополь на горе,
И глаза твои – маслины,
Так глубоки, так невинны,
Как... (нажал на все пружины —
Нет сравнений в словаре!).

Но жених твой... Гром и пушка!
Ты и он – подумай, душка:
Одуванчик и лягушка,
Мотылек и вурдалак.
Эти жесты и улыбки.
Эти брючки, эти штрипки...
Весь до дна, как клейстер липкий, —
Мелкий маклер и пошляк.

Но, дитя, всего смешнее,
Что в придачу к Гименею^[131]
Ты такому дуралею
Триста тысяч хочешь дать...
О, Рахиль, царица Вильны!
Мысль и логика бессильны, —
Этот дикий ребус стильный
И Спинозе^[132] не понять.

Первая любовь

А.И. Куприну

Из-за забора вылезла луна
И нагло села на крутую крышу.
С надеждой, верой и любовью слышу,
Как запирают ставни у окна.
Луна!

О, томный шорох темных тополей
И спелых груш наивно-детский запах!
Любовь сжимает сердце в цепких лапах,
И яблони смеются вдоль аллей.
Смелей!

Ты там, как мышь, притихла в тишине?
Но взвизгнет дверь пустынного балкона,
Белея и шумя волнами балахона,
Ты проскользнешь, как бабочка, ко мне.
В огне...

Да – дверь поет. Дождался наконец.
А впрочем, хрип, и кашель, и сморканье,
И толстых ног чужие очертанья —
Всё говорит, что это твой отец.
Конец.

О, носорог! Он смотрит на луну,
Скребет бока, живот и поясницу
И, придавив до плача половицу,
Икотой нарушает тишину.
Ну-ну...

Потом в туфлях спустился в сонный сад,
В аллее яблоки опавшие собирает,

Их с чавканьем и хрустом пожирает
И в тьму вперяет близорукий взгляд.
Назад!

К стволу с отчаяньем и гневом я приник.
Застыл. Молчу. А в сердце кастаньеты...
Ты спишь, любимая? Конечно, нет ответа,
И не уходит медленный старик —
Привык!

Мечтает... Гад! Садится на скамью...
Вокруг забор, а на заборе пики.
Ужель застряну и в бессильном крике
Свою любовь и злобу изолью?!
Плюю...

Луна струит серебряную пыль.
Светло. Прости!.. В тоске пе-ре-ле-за-ю,
Твои глаза заочно ло-бы-за-ю
И... с трреском рву штанину о костыль.
Рахиль!

Как мамонт бешеный, влачился я, хромой.
На улицах луна и кружево каштанов...
Будь проклята любовь вблизи отцов-тиранов!
Кто утолит сегодня голод мой?
Домой!..

Уездный город Болхов^[133]

На Одёрской площади понурые одры,
Понурые лари и понурые крестьяне.
Вкруг Одёрской площади груды пестрой рвани:
Номера, лабазы и постоялые дворы.
Воняет кожей^[134], рыбой и клеем.
Машина в трактире хрипло сипит.

Пыль кружит по улице и забивает рот,
Вьедается в глаза, клеймит лицо и ворот.
Боровы с веревками оживляют город
И, моргая веками, дрыхнут у ворот.
Заборы – заборы – заборы – заборы
Мостки, пустыри и пыльный репей.

Коринфские колонны^[135] облупленной семьей
Поддерживают кров «Мещанской богадельни».
Средь нищенских домов упорно и бесцельно
Угрюмо-пьяный чуйка^[136] воюет со скамьей.
Сквозь мутные стекла мерцают божницы^[137].
Два стражника мчатся куда-то в карьер.

Двадцать пять церквей пестрят со всех сторон.
Лиловые, и желтые, и белые в полоску.
Дева у окна скребет перстом прическу.
В небе караван тоскующих ворон.
Воняет клеем, пылью и кожей.
Стемнело. День умер. Куда бы пойти?..

На горе бомондное гулянье в «Городке»:
Извилистые ухаи в драконовых жилетах
И вспухшие от сна кожевницы в корсетах
Ползут кольцом вкруг «музыки», как стая мух
в горшке.

Кларнет и гобой отстают от литавров.
«Как ночь-то лунаста!» – «Лобзаться-с
вкусней!»

А внизу за гривенник волшебный новый яд —
Серьезная толпа застыла пред экраном:
«Карнавал в Венеции», «Любовник под диваном»^[138].
Шелушат подсолнухи, вздыхают и кряхтят...
Мальчишки прильнули к щелкам забора.
Два стражника мчатся куда-то в карьер.

* * *

Трава на мостовой,
И на заборе кошка.
Зевая, постовой
Свернул «собачью ножку».

Натер босой старик
Забор крахмальной жижей
И лепит: «*Сестры Шик —
Сопрана из Парижа*».

Окно в глухой стене:
Открытки, клей, Мадонна,
«Мозг и душа»^[139], «На дне»^[140],
«Гаданье Соломона»^[141].

Трава на мостовой.
Ушла с забора кошка...
Семейство мух гурьбой
Усеяло окошко.

<1910>

Лирические сатиры

Под сурдинку

Хочу отдохнуть от сатиры...
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, легкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю...

Хочу быть незлобным ягненком,
Ребенком,
Которого взрослые люди дразнили и злили,
А жизнь за чьи-то чужие грехи
Лишила третьего блюда.

Васильевский остров^[142] прекрасен,
Как жаба в манжетах.
Отсюда, с балконца,
Омытый потоками солнца,
Он весел, и грязен, и ясен,
Как старый маркёр^[143].

Над ним углубленная просинь
Зовет, и поет, и дрожит...
Задумчиво осень
Последние листья желтит.
Срывает.
Бросает под ноги людей на панель...
А в сердце не молкнет свирель:
Весна опять возвратится!

О зимняя спячка медведя,
Сосущего пальчики лап!
Твой девственный храп
Желанней лобзаний прекраснейшей леди.

Как молью изъеден я сплином...
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.

<1909>

У моря

Облаков жемчужный поясok
Полукругом вьется над заливом.
На горячий палевый песок
Мы легли в томлении ленивом.

Голый доктор, толстый и большой,
Подставляет солнцу бок и спину.
Принимаю вспыхнувшей душой
Даже эту дикую картину.

Мы наги, как дети-дикари,
Дикари, но в самом лучшем смысле.
Подымайся, солнце, и гори,
Растопляй кочующие мысли!

По морскому хрену, возле глаз,
Лезет желтенькая божия коровка.
Наблюдаю трудный перелаз
И невольно восхищаюсь: ловко!

В небе тают белые клочки.
Покраснела грудь от ласки солнца.
Голый доктор смотрит сквозь очки,
И в очках смеются два червонца.

«Доктор, друг! А не забросить нам
И белье, и платье в сине море?
Будем спины подставлять лучам
И дремать, как галки на заборе...

Доктор, друг... мне кажется, что я
Никогда не нашивал одежды!»
Но коварный доктор – о, змея! —

Разбивает все мои надежды:

«Фантазер! Уже в закатный час
Будет холодно, и ветрено, и сыро.
И притом фигуришки у нас:
Вы – комар, а я – бочонок жира.

Но всего важнее, мой поэт,
Что меня и вас посадят в каталажку».
Я кивнул задумчиво в ответ
И пошел напяливать рубашку.

Июль 1909

Гунгербург

Из Финляндии

Я удрал из столицы на несколько дней
В царство сосен, озер и камней.

На площадке вагона два раза видал,
Как студент свою даму лобзал.

Эта старая сцена сказала мне вмиг
Больше ста современнейших книг.

А в вагоне – соседка и мой vis-a-vis^[144]
Объяснялись тихонько в любви.

Чтоб свое одинокое сердце отвлечь,
Из портпледа я вытащил «Речь».

Вверх ногами я эту газету держал:
Там, в углу, юнкер барышню жал!

Был на Иматре^[145]. Так надо.
Видел глупый водопад.
Постоял у водопада
И, озлясь, пошел назад.

Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»

Извините. Очень надо...
Я приехал отдохнуть.
А за мной из водопада
Донеслось: «Когда-нибудь!»

Забыл на вокзале пенсне, сломал отельную лыжу.
Купил финский нож – и вчера потерял.
Брожу у лесов и вдвойне опять ненавижу
Того, кто мое легковерие грубо украл.

Я в городе жаждал лесов, озер и покоя.
Но в лесах снега глубоки, а галоши мелки.
В отеле всё те же комнаты, слуги, жаркое,
И в окнах – финского неба слепые белки.

Конечно, прекрасно молчание финнов и финок,
И сосен, и финских лошадок, и неба, и скал,
Но в городе я намолчался по горло, как инок^[146],
И здесь я бури и вольного ветра искал...

Над нетронутым компотом
Я грущу за табльдотом^[147]:
Все разъехались давно.

Что мне делать – я не знаю.
Сплю читаю, ем, гуляю —
Здесь – иль город: всё равно.

Декабрь 1909 или январь 1910

Песнь песней^[148]

Поэма

*Нос твой – башня Ливанская,
обращенная к Дамаску.*

«Песнь песней», гл. VII

Царь Соломон^[149] сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом.
У ног, как воплощенный миф,
Лежала Суламифь
И, высунувши розовенький кончик
Единственного в мире язычка,
Как кошечка при виде молочка,
Шептала: «Соломон мой, Соломончик!»

«Ну, что? – промолвил царь,
Облаживая лапку. —
Опять раскрыть мой ларь?
Купить шелков на тряпки?
Кровать из янтаря?
Запястье из топазов?»

Скорей проси царя,
Проси, цыпленок, сразу!»

Суламифь царя перебивает:
«О мой царь! Года пройдут как сон,
Но тебя никто не забывает —
Ты мудрец, великий Соломон!
Ну а я, шалунья Суламита,
С лучезарной, смуглой красотой,
Этим миром буду позабыта,
Как котенок в хижине пустой!

О мой царь! Прошу тебя сердечно:
Прикажи, чтоб медник твой Хирам^[150]
Вылил статую мою из меди вечной —
Красоте моей нетленный храм!..»

«Хорошо! – говорит Соломон. – Отчего же?»
А ревнивые мысли поют на мотив:
У Хирама уж слишком красивая рожа —
Попозировать хочет моя Суламифь.

Но ведь я, Соломон, мудрецом называюсь,
И Хирама из Тира мне звать не резон...
«Хорошо, Суламифь, хорошо, постараюсь!
Подарит тебе статую царь Соломон...»

Царь тихонько от шалуньи
Шлет к Хираму в Тир гонца,
И в седьмое новолунье
У парадного крыльца
Соломонова дворца
Появился караван
Из тринадцати верблюдов,
И на них литое чудо —
Отвратительней верблюда
Медный, в шесть локтей болван!
Стража, чернь и служки храма
Наседают на Хирама:
«Идол? Чей? Кому? Зачем?»
Но Хирам бесстрастно нем.
Вдруг выходит Соломон.
Смотрит: «Что это за гриф
С безобразно длинным носом?!»
Не смущаясь сим вопросом,
Медник молвит: «Суламифь».
«Ах!» – сорвалось с нежных уст,
И живая Суламита
На плиту из малахита

Опускается без чувств...
Царь, взбесясь, уже мечом
Замахнулся на Хирама,
Но Хирам повел плечом:
«Соломон, побойся срама!
Не спяна и не во сне
Лил я медь, о царь сердитый,
Вот пергамент твой ко мне
С описанием Суламиты:

Нос ее – башня Ливана!
Ланиты ее – половинки граната.
Рот – как земля Ханаана^[151],
И брови – как два корабельных каната.

Сосцы ее – юные серны,
И груди – как две виноградные кисти,
Глаза – золотые цистерны,
Ресницы – как вечнозеленые листья.

Чрево – как ворох пшеницы,
Обрамленный гирляндой лилий,
Бедра – как две кобылицы,
Кобылицы в кремовом мыле...

Кудри – как козы стадами,
Зубы – как бритые овцы с приплодом,
Шея – как столп со щитами,
И пупок – как арбуз, помазанный медом!»

В свите хохот заглушенный. Улыбается Хирам.
Соломон, совсем смущенный, говорит: «Пошел к чертям!
Всё, что следует по счету, ты получишь за работу...
Ты – лудильщик, а не медник, ты сапожник...
Стыд и срам!»
С бороною по колена, из толпы – пророк Абрам
Выступает вдохновенно: «Ты виновен – не Хирам!

Но не стоит волноваться, всякий может увлекаться:
Ты писал и раскакался, как козуля по горам.
«Песня песней» – это чудо! И бессилён здесь Хирам.
Что он делал? Вылил блюдо в дни, когда ты строил храм...
Но клянусь! В двадцатом веке по рождении Мессии^[152]
Молодые человеки возродят твой стиль в России...»

Суламифь открывает глаза,
Соломон наклонился над нею:
«Не волнуйся, моя бирюза!
Я послал уж гонца к Амонею.
Он хоть стар, но прилежен, как вол.
Говорят, замечательный медник...
А Хирам твой – бездарный осел
И при этом ещё привередник!
Будет статуя здесь – не проси —
Через два или три новолунья...»
И в ответ прошептала «Merci!»^[153]
Суламифь, молодая шалунья.

1908 или 1909

Диспут [\[154\]](#)

Три курсистки сидели над «Саниным» [\[155\]](#),
И одна, сухая как жердь,
Простонала с лицом затуманенным:
«Этот Санин прекрасен, как смерть...»

А другая, кубышка багровая,
Поправляя двойные очки,
Закричала: «Молчи, безголовая! —
Эту книгу порвать бы в клочки...»

Только третья молчала внимательно,
Розовел благородный овал,
И глаза загорались мечтательно...
Кто-то в дверь в этот миг постучал.

Это был вольнослушатель Анненский.
Две курсистки вскочили: «Борис,
Разрешите-ка диспут наш санинский!»
Поклонился смущенный Парис,

Посмотрел он на третью внимательно.
На взволнованно-нежный овал.
Улыбнулся чему-то мечтательно
И в ответ... ничего не сказал.

Гармония

Направо в обрыве чернели стволы
Гигантских развесистых сосен,
И был одуряющий запах смолы,
Как зной неподвижный, несносен.

Зеленые искры светящих жуков
Носились мистическим роем,
И в городе дальнем ряды огоньков
Горели вечерним покоем.

Под соснами было зловеще темно,
И выпи аукали дружно.
Не здесь ли в лесу бесконечно давно
Был Ивик^[156] убит безоружный?..

Шли люди – их лица закутала тьма,
Но речи отчетливы были:
«Вы знали ли Шляпкиных?» – «Как же, весьма, —
Они у нас летом гостили».

– «Как ваша работа?» – «Идет, – ничего,
Читаю Робёрта Оvéна»^[157].

– «Во вторник пойдем в семинар?» —
«Для чего?»

– «Орлов – референт». – «Непременно».

– «Что пишет Кадушкин?» – «Женился,
здоров,
И предан партийной работе».
Молчанье. Затихла мелодия слов,
И выпь рассмеялась в болоте.

<1908>

Из «Шмецких»^[158] воспоминаний

Посв<ячается> А. Григорьеву

У берега моря кофейня. Как вкусен густой шоколад!
Лиловая жирная дама глядит у воды на закат.

«Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный
баркас.
Вы задом заставили солнце, – а солнце прекраснее вас...»

Сосед мой краснеет, как клюква, и смотрит сконфуженно
вбок.
«Не бойся! Она не услышит: в ушах ее ватный клочок».

По тихой веранде гуляет лишь ветер да пара щенят.
Закатные волны вскипают, шипят и любовно звенят.

Весь запад в пунцовых пионах, и тени играют с песком,
А воздух вливается в ноздри тягучим парным молоком.

«Михайлович, дай папироску!» Прекрасно сидеть в темноте,
Не думать и чувствовать тихо, как краски растут в высоте.

О, море верней валерьяна врачует от скорби и зла...
Фонарщик зажег уже звезды, и грузная дама ушла...

Над самой водою далеко, как сонный, усталый глазок,
Садится в шипящее море цветной, огневой ободок.

До трех просчитать не успели, он вздрогнул и тихо нырнул,
А с моря уже доносился ночной нарастающий гул...

Шмецке

Бурьян

В пространство

В литературном преискуранте
Я занесен на скорбный лист^[159]:
«Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадежный пессимист».

Ярлык пришит. Как для дантиста
Все рты полны гнилых зубов,
Так для поэта-пессимиста
Земля – коллекция гробов.

Конечно, это свойство взоров!
Ужели мир так впал в разврат,
Что нет природы для узоров
Оптимистических кантат?

Вот редкий подвиг героизма,
Вот редкий умный господин,
Здесь – брак, исполненный лиризма,
Там – мирный праздник именин...

Но почему-то темы эти
У всех сатириков в тени,
И все сатирики на свете
Лишь ловят минусы одни.

Вновь с «безнадежным пессимизмом»
Я задаю себе вопрос:
Они ль страдали дальтонизмом
Иль мир бурьяном зла зарос?

Ужель из дикого желанья
Лежать ничком и землю грызть
Я исказил все очертанья,

Лишь в краску тьмы макая кисть?

Я в мир, как все, явился голый
И шел за радостью, как все...
Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?

О Мефистофель, как обидно,
Что нет статистики такой,
Чтоб даже толстым стало видно,
Как много рухляди людской!

Тогда, объяв века страданья,
Не говорили бы порой,
Что пессимизм как заиканье
Иль как душевный геморрой...

1910 или 1911

Санкт-Петербург

Белые хлопья и конский навоз
Смесились в грязную желтую массу и преют.
Протухшая, кислая, скучная, острая вонь...
Автомобиль и патронный обоз.
В небе пары, разлагаясь, сереют.
В конце переулка желтый огонь...
Плывет отравленный пьяный,
Бросил в глаза проклятую брань
И скрылся, качаясь, – нелепый, ничтожный
и рваный.
Сверху сочится какая-то дрянь...
Из дверей извозчичьих чадных трактиров
Вырывается мутным снопом
Желтый пар, пропитанный шерстью и щами...
Слышишь крики распаренных сиплых сатиров?
Они веселятся... Плетется чиновник с попом.
Щебечет грудастая дама с хлыщами.
Орут ломовые на темных слоновых коней,
Хлещет кнут и скучное острое русское слово!
На крутом повороте забили подковы
По лбам обнаженных камней —
И опять тишина.
Пестроглазый трамвай вдалеке промелькнул.
Одиночество скучных шагов... «Ка-ра-ул!»
Всё черней и неверней уходит стена.
Мертвый день растворился в тумане вечернем...
Зазвонили к вечерне.
Пей до дна!

У канала ночью

Тихо. Глухо. Пусто, пусто...
Месяц хлынул в переулок.
Стены стали густо-густо.
Мертв покой домов-шкатулок.

Черепных безглазых впадин
Черных окон – не понять.
Холод неба беспощаден,
И дневного не узнать.

Это дьявольская треба:
Стынут волны, хмурясь ввысь, —
Стенам мало плена неба,
Стены вниз, к воде сползлись.

Месяц хлынул в переулок...
Смерть берет к губам свирель.
За углом, угрюмо-гулок,
Чей-то шаг гранит панель.

Вид из окна

Захватанные копотью и пылью,
Туманами, парами и дождем,
Громады стен с утра влекут к бессилью,
Твердя глазам: мы ничего не ждем...

Упитанные голуби в карнизах;
Забыв полет, в помете грузно спят.
В холодных стеклах, матовых и сизых,
Чужие тени холодно сквозят.

Колонны труб и скат слинявшей крыши,
Мостки для трубочиста, флюгера
И провода в мохнато-пыльной нише.

Проходят дни, утра и вечера.
Там где-то небо спит аршином выше,
А вниз сползает серый люк двора.

<1910>

Мертвые минуты

Набухли снега у веранды.
Темнеет лиловый откос.
Закутав распухшие гланды,
К стеклу прижимаю я нос.

Шперович – банкир из столицы
(И истинно русский еврей) —
С брусничною веткой в петлице
Нырнет в сугроб у дверей.

Его трехобхватная Рая
В сугроб уронила кольцо
И, жирные пальцы ломая,
К луне подымает лицо.

В душе моей страх и смятение:
Ах, если Шперович найдет! —
Двенадцать ножей огорченья
Мне медленно в сердце войдет...

Плюется... Встает... Слава Богу!
Да здравствует правда, ура!
Шперович уходит в берлогу,
Супруга рыдает в боа.

Декабрь 1910

Кавантсари. Пансион

Пять минут

«Господин» сидел в гостиной
И едва-едва
В круговой беседе чинной
Плел какие-то слова.

Вдруг безумный бес протеста
В ухо проскользнул:
«Слушай, евнух фраз и жеста,
Слушай, бедный вечный мул!

Пять минут (возьми их с бою!)
За десятки лет
Будь при всех самим собою
От пробора до штиблет».

В сердце ад. Трепещет тело.
«Господин» поник...
Вдруг рукой оледенелой
Сбросил узкий воротник!

Положил на кресло ногу,
Плечи почесал
И внимательно и строго
Посмотрел на стихший зал.

Увидал с тоской суровой
Рыхлую жену,
Обозвал ее коровой
И, как ключ, пошел ко дну...

Близорукого соседа
Щелкнул пальцем в лоб
И прервал его беседу

Гневным словом: «Остолоп!»

Бухнул в чай с полчашки рома,
Пососал усы,
Фыркнул в нос хозяйке дома
И, вздохнув, достал часы.

«Только десять! Ну и скука...»
Потянул альбом
И запел, зевнув как щука:
«Тили-тили-тили-бом!»

Зал очнулся: шепот, крики,
Обмороки дам,
«Сумасшедший! Пьяный! Дикий!»
– «Осторожней, – в морду дам».

Но прислуга «господину»
Завязала рот
И снесла, измяв как глину,
На пролетку у ворот...

Двадцать лет провел несчастный
Дома, как барбос,
И в предсмертный час напрасно
Задавал себе вопрос:

«Пять минут я был нормальным
За десятки лет —
О, за что же так скандально
Поступил со мною свет?!»

Колумбово яйцо [\[160\]](#)

Дворник, охапку поленьев обрушивши с грохотом на пол,
Шибко и тяжко дыша, пот растирал по лицу.
Из мышеловки за дверь вытряхая мышонка для кошек,
Груз этих дров квартирант нервной спиной ощутил.

«Этот чужой человек с неизвестной фамильей и жизнью
Мне не отец и не сын – что ж он принес мне дрова?
Правда, мороз на дворе, но ведь я о Петре не подумал
И не принес ему дров в дворницкий затхлый вертеп».

Из мышеловки за дверь вытряхая мышонка для кошек,
Смутно искал он в душе старых напетых цитат:
«Дворник, мол, создан для дров, а жилец есть объект для
услуги.
Взять его в комнату жить? Дать ему галстук и «Речь»?»

Вдруг осенило его и, гордынею кроткой сияя,
Сунул он в руку Петра новеньких двадцать монет,
Тронул ногою дрова, благодарность с достоинством принял
И в мышеловку кусок свежего сала вложил.

Человек в бумажном воротничке

Занимается письмоводством.

Отметка в паспорте

Позвольте представиться: Васин.
Несложен и ясен, как дрозд.
В России подобных орясин^[161] —
Как в небе полуночном звезд.

С лица я не очень приятен:
Нос толстый, усы – как порей,
Большое количество пятен
И также немало угрей...

Но если постричься, побриться
И спрыснуть майским амбре —
Любая не прочь бы влюбиться
И вместе пойти в кабаре.

К политике я равнодушен.
Кадеты^[162], эсдеки^[163] – к чему-с?
Бухгалтеру буду послушен
И к Пасхе прибавки добыюсь.

На службе у нас лотереи...
Люблю, но, увы, не везет:
Раз выиграл баночку клею,
В другой – перебитый фагот.

Слежу иногда за культурой:
Бальмонт, например, и Дюма^[164],
Андреев^[165]... с такой шевелюрой —
Мужчины большого ума!..

Видали меня на Литейном^[166]?
Пейзаж! Перед каждым стеклом
Торчу по часам ротозейно:
Манишечки, пряничный лом...

Тут мятный, там вяземский пряник,
Здесь выпуски «Ужас таверн»,
Там дивный фразе^[167] – подстаканник
С русалкою в стиле модерн.

Зайдешь и возьмешь полендвицы^[168]
И кетовой (четверть) икры,
Привяжешься к толстой девице,
Проводишь, предложишь дары.

Чаек. Заведешь на гитаре
Чарующий вальс «На волнах»^[169]
И глазом скользишь по Тамаре...
Невредно-с! Удастся иль швах?

Частенько уходишь без толку:
С идеями или глупа.
На Невском бобры, треуголки,
Чиновники, шубы... Толпа!

Нырнешь и потонешь бесследно.
Ах, черт, сослуживец... «Балда!»
– «Гуляешь?» – «Гуляю» – «Не вредно!»
– «Со мною?» – «С тобою». – «Айда!»

Стилисты

На последние полушки
Покупая безделушки,
Чтоб свалить их в Петербурге
В ящик старого стола, —

У поддельных ваз этрусских^[170]
Я нашел двух бравых русских,
Зычно спорящих друг с другом,
Тыча в бронзу пятерней:

«Эти вазы, милый Филя,
Ионического стиля^[171]!»
– «Брось, Петруша! Стиль дорийский
Слишком явно в них сквозит...»

Я взглянул: лицо у Фили
Было пробкового стиля,
А из галстука Петруши
Бил в глаза армейский стиль.

Лето 1910

Флоренция

Северные сумерки

В небе полоски дешевых чернил
Со снятым молоком вперемежку,
Пес завалился в пустую тележку
И спит. Дай, Господи, сил!

Черви на темных березах висят
И кольшут устало хвостами.
Мошки и тени дрожат над кустами.
Как живописен вечерний мой сад!

Серым верблюдом стала изба.
Стекла – как очи тифозного сфинкса.
С видом с Марса упавшего принца
Пот неприятя злобно стираю со лба...

Кто-то порывисто дышит в сарайную щель,
Больная корова, а может быть, леший?
Лужи блестят, как старцев-покойников плечи.
Апрель? Неужели же это апрель?!

Вкруг огорода пьяный, беззубый забор.
Там, где закат, узкая ниточка жёлчи.
Страх всё растёт, гигантский, дикий и волчий...
В темной душе запутанный темный узор.

Умерли люди, скворцы и скоты.
Воскреснут ли утром для криков и жвачки?
Хочется стать у крыльца на карачки
И завывать в глухонемые кусты...

Разбудишь деревню, молчи! Прибегут
С соломою в патлах из изб печенеги,
Спросонья воткнут в тебя вилы с разбега

И триста раз повернут...

Черным верблюдом стала изба.
А в комнате пусто, а в комнате гулко.
Но лампа разбудит все закоулки,
И легче станет борьба.

Газетной бумагой закрою пропасть окна.
Не буду смотреть на грязь небосвода!
Извините меня, дорогая природа, —
Сварю яиц, заварю толокна.

Апрель 1910

Заозерье

Рождение футуризма

Художник в парусиновых штанах,
Однажды сев случайно на палитру,
Вскочил и заметался впопыхах:
«Где скипидар?! Давай – скорее вытру!»

Но, рассмотревши радужный каскад,
Он в трансе творческой интуитивной дрожи
Из парусины вырезал квадрат
И... учредил салон «Ослиной кожи»^[172].

Весна 1912

Трагедия ^[173]

Я пришел к художнику Миноге —
Он лежал на низенькой тахте
И, задравши вверх босые ноги,
Что-то мазал кистью на холсте.

Испугавшись, я спросил смущенно:
«Что с тобой, maestro? ^[174] Болен? Пьян?»
Но Минога гаркнул раздраженно,
Гениально сплюнув на диван:

«Обыватель с заячьей душою!
Я открыл в искусстве новый путь, —
Я теперь пишу босой ногою...
Всё, что было, – пошлость, ложь и муть.

Футуризм стал ясен всем прохожим.
Дальше было некуда леветь...
Я нашел!» – и он, привстав над ложем,
Ногу с кистью опустил, как плеть.

Подстеливши на пол покрывало,
Я колено робко преклонил
И, косясь на лоб микрокефала,
Умиленным шепотом спросил:

«О, Минога, друг мой, неужели? —
Я себя ударил гулко в грудь. —
Но, увы, чрез две иль три недели
Не состарится ль опять твой новый путь?»

И Минога тоном погребальным
Пробурчал, вздыхая, как медведь:
«Н-да-с... Извольте быть тут гениальным...

Как же, к черту, дальше мне леветь?!»

Начало 1910-х

Современный Петрарка^[175]

Говорите ль вы о Шелли^[176] иль о ценах на дрова,
У меня, как в карусели, томно никнет голова
И под смокингом налево жжет такой глухой тоской,
Словно вы мне сжали сердце теплой матовой рукой...

Я застенчив, как мимоза, осторожен, как газель,
И намека, в скромной позе, жду уж целых пять недель.
Ошибиться так нетрудно – черт вас, женщин, разберет.
И глаза невольно тухнут, стынут пальцы, вянет рот.

Но влачится час за часом, мутный голод всё острее, —
Так сто лет еще без мяса настоишься у дверей.
Я нашел такое средство – больше ждать я не хочу:
Нынче в семь, звеня браслетом, эти строки вам вручу...

Ваши пальцы будут эхом, если вздрогнут, и листок
Забелеет в рысьем мехе у упругих ваших ног, —
Я богат, как двадцать Крезов^[177], я блажен, как царь
Давид^[178],
Я прощу всем рецензентам сорок тысяч их обид!

Если ж с миною кассирши вы решитесь молча встать
И вернете эти вирши с равнодушным баллом «5»,
Я шутил! Шутил – и только, отвергаю сладкий плен...
Ведь фантазия поэта – как испанский гобелен!

Пафос мой мгновенно скиснет, а стихи... пошлю в журнал,
Где наборщик их оттиснет под статью «Наш развал»,
Почтальон через неделю принесет мне гонорар,
И напьюсь я, как под праздник напивается швейцар!..

* * *

Безглазые глаза надменных дураков,
Куриный кодекс модных предрассудков.
Рычание озлобленных ублюдков
И наглый лязг очередных оков...
А рядом, словно окна в синий мир,
Сверкают факелы безумного Искусства:
Сияет правда, пламенеет чувство,
И мысль справляет утонченный пир.

Любой пигмей, слепой, бескрылый крот,
Вползает к Аполлону, как в пивную, —
Нагнет, икая, голову тупую
И сладостный нектар как пиво пьет.
Изучен Дант^[179] до неоконченной строфы,
Кишат концерты толпами прохожих,
Бездарно и безрадостно похожих,
Как несгораемые тусклые шкафы...

Вы, гении, живущие в веках,
Чьи имена наборщик знает каждый,
Заложники бессмертной вечной жажды,
Скопившие всю боль в своих сердцах!
Вы все – единой донкихотской расы,
И ваши дерзкие, святые голоса
Всё так же тщетно рвутся в небеса,
И вновь, как встарь, вам рукоплещут папуасы...

Русское

«Руси есть веселие пити»^[180].

Не умеют пить в России!
Спиртом что-то разбудив,
Тянут сиплые витии^[181]
Патетический мотив
О мещанском духе шведа,
О началах естества,
О бездарности соседа
И о целях божества.
Пальцы тискают селедку...
Водка капает с усов,
И сосед соседям кротко
Отпускает «подлецов».
Те дают ему по морде
(Так как лиц у пьяных нет),
И летят в одном аккорде
Люди, рюмки и обед.
Благородные лакеи
(Помесь фрака с мужиком)
Молча гнут хребты и шеи,
Издеваясь шепотком...
Под столом гудят рыдания,
Кто-то пьет чужой ликер.
Примиренные лобзанья,
Брудершафты, спор и вздор...
Анекдоты, словоблудье,
Злая грязь циничных слов...
Кто-то плачет о безлюдье,
Кто-то врет: «Люблю жидов!»
Откровенность гнойным бредом
Густо хлещет из души...
Людоеды ль за обедом

Или просто апаши^[182]?
Где хмельная мощь момента?
В головах угарный шиш,
Сутенера от доцента
В этот миг не отличишь!

Не умеют пить в России!..
Под приборой пустых минут,

Как взлохмаченные Вии,
Одиночки молча пьют.
Усмехаясь, вызывают
Все легенды прошлых лет
И, плумясь, их растлевают,
Словно тешась словом: «Нет!»
В перехваченную плотку,
Содрогаясь и давясь,
Льют безрадостную водку
И надежды топчут в грязь.
Сатанеют равнодушно,
Разговаривают с псом,
А в душе пестро и скучно
Черти ходят колесом.
Цель одна: скорей напиться...
Чтоб смотреть угрюмо в пол
И, качаясь, колотиться
Головой о мокрый стол...

Не умеют пить в России!
Ну а как же надо пить?
Ах, взлохмаченные Вии^[183]...
Так же точно – как любить!

Страшная история

1

Окруженный кучей бланков,
Пожилой конторщик Банков
Мрачно курит и косится
На соседний страшный стол.

На занятиях вечерних
Он вчера к девице Керних,
Как всегда, пошел за справкой
О варшавских накладных

И, склонясь к ее затылку,
Неожиданно и пылко
Под лихие завитушки
Вдруг ее поцеловал.

Комбинируя события,
Дева Керних с вялой прытью
Кое-как облобызала
Галстук, баки и усы.

Не нашелся бедный Банков,
Отошел к охапкам бланков
И, куря, сводил балансы
До ухода, как немой.

2

Ах, вчера не сладко было!
Но сегодня как могила
Мрачен Банков и косится
На соседний страшный стол.

Но спокойна дева Керних:
На занятиях вечерних
Под лихие завитушки
Не ее ль он целовал?

Подошла как по наитью
И, муссируя событие,
Села рядом и солидно
Зашептала не спеша:

«Мой оклад полсотни в месяц,
Ваш оклад полсотни в месяц, —
На сто в месяц в Петербурге
Можно очень мило жить.

Наградные и прибавки,
Я считаю, на булавки,
На Народный дом и пиво,
На прислугу и табак».

Улыбнулся мрачный Банков —
На одном из старых бланков
Быстро свел бюджет их общий
И невесту ущипнул.

Так Петр Банков с Кларой Керних
На занятиях вечерних,
Экономией прельстившись,
Обручились в добрый час.

Проползло четыре года.
Три у Банковых урода
Родилось за это время
Неизвестно для чего.

Недоношенный четвертый
Стал добычею аборта,
Так как муж прибавки новой
К Рождеству не получил.

Время шло. В углу гостиной
Завелось уже пьянино
И в большом недоуменье
Мирно спало под ключом.

На стенах висел сам Банков,
Достоевский и испанка.
Две искусственные пальмы
Скучно сохли по углам.

Сотни лиц различной масти
Называли это счастьем...
Сотни с завистью открытой
Повторяли это вслух!

Это ново? Так же ново,
Как фамилия Попова,
Как холера и проказа,
Как чума и плач детей.

Для чего же повесть эту
Рассказал ты снова свету?
Оттого лишь, что на свете
Нет страшнее ничего...

<1913>

Ошибка

Это было в провинции, в страшной глуши.
Я имел для души
Дантистку с телом белее известки и мела,
А для тела —
Модистку с удивительно нежной душой.

Десять лет пролетело.
Теперь я большой...
Так мне горько и стыдно
И жестоко обидно:
Ах, зачем прозевал я в дантистке
Прекрасное тело,
А в модистке
Удивительно нежную душу!
Так всегда:
Десять лет надо скучно прожить,
Чтоб понять иногда,
Что водой можно жажду свою утолить,
А прекрасные розы – для носа.

О, я продал бы книги свои и жилет
(Весною они не нужны)
И под свежим дыханьем весны
Купил бы билет
И поехал в провинцию, в страшную глушь...
Но, увы!
Ехидный рассудок уверенно каркает: «Чушь!
Не спеши —
У дантистки твоей,
У модистки твоей
Нет ни тела уже, ни души».

Факт

У фрау Шмидт отравилась дочка,
Восемнадцатилетняя Минна.
Конечно, мертвым уже не помочь,
Но весьма интересна причина.

В местечке редко кончали с собой, —
Отчего же она отравилась?
И сплетня гремит иерихонской трубой:
«Оттого, что чести лишилась!»

Сын аптекаря Курца, боннский студент,
Жрец Амура, вина и бесчинства,
Уехал, оставивши Минне в презент
Позорный залог материнства.

Кто их не видел в окрестных горах,
Гуляющих нежно под ручку?
Да, с фрейлейн Шмидт студент-вертопрах
Сыграл нехорошую штучку!..»

В полчаса облетел этот скверный слух
Всё местечко от банка до рынка,
И через каких-то почтенных старух
К фрау Шмидт долетела новинка.

Но труп еще не был предан земле, —
Фрау Шмидт, надевши все кольца,
С густым благородством на вдовьем челе,
Пошла к герр доктору Штольцу.

Герр доктор Штольц приехал к ней в дом,
Осмотрел холодную Минну
И дал фрау Шмидт свидетельство в том,

Что Минна была невинна.

<1911>

Любовь не картошка

Повесть

Арон Фарфурник застукал наследницу дочку
С голодранцем студентом Эпштейном:
Они целовались! Под сливой у старых качелей.
Арон, выгоняя Эпштейна, измял ему страшно сорочку,
Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном,
Где плавали красные рыбки. «Несчастный капцан!»^[184]

Что было! Эпштейна чуть-чуть не съели собаки,
Madame иссморкала от горя четыре платка,
А бурный Фарфурник разбил фамильный поднос.
Наутро очнулся. Разглядел бобровые баки,
Сел с женой на диван, втиснул руки в бока
И позвал от слез опухшую дочку.

Пилили, пилили, пилили, но дочка стояла как идол,
Смотрела в окно и скрипела, как злой попугай:
«Хочу за Эпштейна». – «Молчать!!!» —
«Хо-чу за Эпштейна».
Фарфурник подумал... вздохнул. Ни словом решенья не
выдал,
Послал куда-то прислугу, а сам, как бугай,
Уставился тяжело в ковер. Дочку заперли в спальне.

Эпштейн-голодранец откликнулся быстро на зов:
Пришел, негодяй, закурил и расселся как дома.
Madame огорченно сморкается в пятый платок.
Ой, сколько она наплела удручающих слов:
«Сибирщик! Босьяк! Лапацон! Свиная трахома!
Провокатор невиннейшей девушки, чистой как мак!...»

«Ша... – начал Фарфурник. – Скажите, могли бы ли вы
Купить моей дочке хоть зонтик на ваши несчастные

средства?

Галошу одну могли бы ли вы ей купить?!»

Зажглись в глазах у Эпштейна зловещие львы:

«Купить бы купил, да никто не оставил наследства...»

Со стенки папаша Фарфурника строго косится.

«Ага, молодой человек! Но я не нуждаюсь!

Пусть так.

Кончайте ваш курс, положите диплом на столе и венчайтесь

—

Я тоже имею в груди не лягушку, а сердце...

Пускай хоть за утку выходит – лишь был бы счастливый ваш брак.

Но раньше диплома, пусть гром вас убьет, не встречайтесь,

Иначе я вам сломаю все руки и ноги!»

«Да, да... – сказала madame. – В дворянской бане во вторник

Уже намекали довольно прозрачно про вас и про Розу, —

Их счастье, что я из-за пара не видела, кто!»

Эпштейн поклялся, что будет жить как затворник,

Учел про себя Фарфурника злую угрозу

И вышел, взволнованным ухом лова рыданья из спальни.

Вечером, вечером сторож бил

В колотушку что есть силы!

Как шакал, Эпштейн бродил

Под окошком Розы милой.

Лампа погасла, всхлипнуло окошко,

В раме – белое, нежное пятно.

Полез Эпштейн – любовь не картошка:

Гоните в дверь – ворвется в окно.

Заперли, заперли крепко двери,

Задвинули шкафом, чтоб было верней.

Эпштейн наклонился к Фарфурника дочери

И мучит губы больней и больней...

Ждать ли, ждать ли три года диплома?
Роза цветет – Эпштейн не дурак:
Соперник Поплавский имеет три дома
И тоже питает надежду на брак...

За дверью Фарфурник, уткнувшись в подушку,
Храпит баритоном, жена – дискантом.
Раскатисто сторож бубнит в колотушку,
И ночь неслышно обходит дом.

<1910>

Прекрасный Иосиф [\[185\]](#)

Томясь, я сидел в уголке,
Опрыскан душистым горошком.
Под белую ночь в тоске
Стыл черный канал за окошком.

Диван, и рояль, и бюро
Мне стали так близки в мгновенье,
Как сердце мое и бедро,
Как руки мои и колени.

Особенно стала близка
Владелица комнаты Алла...
Какие глаза и бока,
И голос... как нежное жало!

Она целовала меня,
И я ее тоже – обратно,
Следя за собой, как змея,
Насколько мне было приятно.

Приятно ли также и ей?
Как долго возможно лобзаться?
И в комнате стало белей,
Пока я успел разобраться.

За стенкою сдержанный бас
Ворчал, что его разбудили.
Фитиль начадил и погас.
Минуты безумно спешили...

На узком диване крутом
(Как тело горело и ныло!)
Шептался я с Аллой о том,

Что будет, что есть и что было.

Имеем ли право любить?
Имеем ли общие цели?
Быть может, случайная прыть
Связала нас на две недели.

Потом я чертил в тишине
По милому бюсту орнамент,
А Алла нагнулась ко мне:
«Большой ли у вас темперамент?»

Я вспыхнул и спрятал глаза
В шуршащие мягкие складки,
Согнулся, как в бурю лоза,
И долго дрожал в лихорадке.

«Страсть – темная яма... За мной
Второй вас захватит и третий...
Притом же от страсти шальной
Нередко рождаются дети.

Сумеем ли их воспитать?
Ведь лишних и так миллионы...
Не знаю, какая вы мать,
Быть может, вы вовсе не склонны?..»

Я долго еще тархтел,
Но Алла молчала устало.
Потом я бессмысленно ел
Пирог и полтавское сало.

Ел шпроты, редиску и кекс
И думал бессильно и злобно,
Пока не шепнул мне рефлекс,
Что дольше сидеть неудобно.

Прощался... В тоске целовал,
И было всё мало и мало.
Но Алла смотрела в канал
Брезгливо, и гордо, и вяло.

Извозчик попался плохой.
Замучил меня разговором.
Слепой, и немой, и глухой,
Блуждал я растерянным взором

По мертвой и новой Неве,
По мертвым и новым строеньям, —
И было темно в голове,
И в сердце росло сожаленье...

«Извозчик, скорее назад!» —
Сказал, но в испуге жестоком
Я слез и пошел наугад
Под белым молчаньем глубоким.

Горели уже облака,
И солнце уже вылезало.
Как тупо влезало в бока
Смертельно щемящее жало!

Май 1910

Петербург

Городской романс

Над крышей гудят провода телефона...
Будь проклят, бессмысленный шум!
Сегодня опять не пришла моя донна,
Другой не завел я – ворона, ворона!
Сижу, одинок и угрюм.

А так соблазнительно в теплые лапки
Уткнуться губами, дрожа,
И слушать, как шелково-мягкие тряпки
Шуршат, словно листьев осенних охапки
Под мягкой рысью ежа.

Одна ли, другая – не всё ли равно ли?
В ладонях утонут зрачки —
Нет Гали, ни Нелли, ни Мили, ни Оли,
Лишь теплые лапки, и ласковость боли,
И сердца глухие толчки...

<1910>

В Александровском саду^[186]

На скамейке в Александровском саду
Котелок склонился к шляпке с какаду^[187]:
«Значит, в десять? Меблированные «Русь»...»
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Боюсь».
– «Ничего, моя хорошая, не трусь!
Я ведь в случае чего-нибудь женюсь!»
Засерели злые сумерки в саду —
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Приду!»
Мимо шлялись пары пресных обезьян,
И почти у каждой пары был роман...
Падал дождь, мелькали сотни грязных ног,
Выл мальчишка со шнурками для сапог.

На Невском ночью

Темно под арками Казанского собора.
Привычной грязью скрыты небеса.
На тротуаре в вялой вспышке спора
Хрипят ночных красавиц голоса.

Спят магазины, стены и ворота.
Чума любви в накрашенных бровях
Напомнила прохожему кого-то,
Давно истлевшего в покинутых краях...

Недолгий торг окончен торопливо —
Вон на извозчике любовная чета:
Он жадно курит, а она гнусит.

Проплыл городской, зевающий тоскливо,
Проплыл фонарь пустынного моста,
И дева пьяная вдогонку им свистит.

Хмель

На лыжах

Желтых лыж шипящий бег,
Оснеженных елей лапы,
Белый-белый-белый снег,
Камни – старые растяпы,
Воздух пьяный,
Ширь поляны...
Тишина!
Бодрый лес мой, добрый лес
Разбросался, запушился
До опаловых небес.
Ни бугров, ни мху, ни пней —
Только сизый сон теней,
Только дров ряды немые,
Только ворон на сосне...

Успокоенную боль
Занесло глухим раздумьем.
Всё обычное – как роль
Резонерства и безумья...
Снег кружится,
Лес дымится.
В оба, в оба! —
Чуть не въехал в мерзлый ельник!
Вон лохматый можжевельник
Дерзко вылез из сугроба.
След саней свернул на мызу...
Ели встряхивают ризу.
Руки ниже,
Лыжи ближе,
Бей бамбуковой палкой
О хрустящий юный снег!

Ах, быть может, Петербурга

На земле не существует?
Может быть, есть только лыжи,
Лес, запудренные дали,
Десять градусов, беспечность
И сосульки на усах?
Может быть, там за чертою
Дымно-праздничных деревьев
Нет гогочущих кретинов,
Громких слов и наглых жестов,
Изменяющих красавиц,
Плоско-стертых серых Лишних,
Патриотов и шпионов,
Терпеливо-робких стонов,
Бледных дней и мелочей?..

На ольхе, вблизи дорожки,
Чуть качаются сережки,
Истомленные зимой.
Желтовато-розоватый
Побежал залив заката —
Снег синей,
Тень темней...
Отчего глазам больней?
Лес и небо ль загрузили,
Уходя в ночную даль, —
Я ли в них неосторожно
Перелил свою печаль?
Тише, тише, снег хрустящий,
Темный, жуткий, старый снег...

Ах, зовет гудящий гонг:
«Диги-донг!» —
К пансионскому обеду...
Снова буду молча кушать,
Отчужденный, как удод,
И привычно-тупо слушать,
Как сосед кричит соседу,

Что Исакий каждый год
Опускается всё ниже [\[188\]](#) ...
Тише, снег мой, тише, лыжи!

Декабрь 1910

Кавантсари

Нирвана^[189]

На сосне хлопочет дятел,
У сорок дрожат хвосты...
Толстый снег законопатил
Все овражки, все кусты.

Чертов ветер с хриплым писком,
Взбив до неба дымный прах,
Мутно-белым василиском^[190]
Бьется в бешеных снегах.

Смерть и холод! Хорошо бы
С диким визгом взвиться ввысь
И упасть стремглав в сугробы,
Как подстреленная рысь...

И вылядывать оттуда,
Превращаясь в снежный ком,
С безразличием верблюда,
Занесенного песком.

А потом – весной лиловой —
Вдруг растаять... закружить...
И случайную корову
Беззаботно напоить.

Декабрь 1910 или начало 1911

Кавантсари

* * *

Солнце жарит. Мол безлюден.
Пряно пахнет пестрый груз.
Под водой дрожат, как студень,
Пять таинственных медуз.
Волны пухнут...

Стая рыб косым пятном
Затемнила зелень моря.
В исступлении шальном,
Воздух крыльями узора,
Вьются чайки.

Молча, в позе Бонапарта^[191],
Даль пытаю на молу:
Где недавний холод марта?
Снежный вихрь, мутящий мглу?
Зной и море!

Отчего нельзя и мне
Жить, меняясь, как природа,
Чтоб усталость по весне
Унеслась, как время года?..
Сколько чаек!

Солнце жжет. Где холод буден?
Темный сон случайных уз?
В глубине дрожат, как студень,
Семь божественных медуз.
Волны пухнут...

Весна 1911

Ялта

В море

Если низко склониться к воде
И смотреть по волнам на закат —
Нет ни неба, ни гор, ни людей,
Только красных валов пережат...

Мертвый отблеск... Холодная жуть,
Тускло смотрит со дна глубина...
Где же лодка моя и гребец?
Где же руки, и ноги, и грудь?

О, как любо, отпрянув назад,
Милый берег глазами схватить —
Фонарей ярко-желтую нить,
И пустынного мола черту!

1911 (?)

В Крыму

Турки носят канифоль.
Ноздри пьют морскую соль.
Поплавок в арбузных корках...

Ноги свесились за мол...
Кто-то сбоку подошел:
Две худых ступни в опорках.

«Пятачишку бы...» – «Сейчас».
Чайки сели на баркас.
Пароход завыл сурово.

Раз! Как любо снять с крючка
Толстолобого бычка
И крючок закинуть снова!

Весна 1911

Дождь

Потемнели срубы от воды.
В колеях пузырятся потоки.
Затянув кисейкою сады,
Дробно пляшет дождик одинокий.
Вымокла рябинка за окном,
Ягоды блестят в листве, как бусы.
По колоде, спящей кверху дном,
Прыгает в канавке мальчик русый.
Изумрудней рощи и сады.
В пепле неба голубь мчится к вышке.
Куры на крыльце, поджав хвосты,
Не спускают сонных глаз с задвижки...
Свежий дождь, побудь, побудь у нас!
Сей свое серебряное семя...
За ворота выбегу сейчас
И тебе подставлю лоб и темя.

<1913>

У Нарвского залива

Я и девочки-эстонки
Притащили тростника.
Средь прибрежного песка
Вдруг дымок завился тонкий.

Вал гудел, как сто фаготов,
Ветер пел на все лады.
Мы в жестянку из-под шпротов
Молча налили воды.

Ожидали, не мигая,
Замирая от тоски, —
Вдруг в воде, шипя у края,
Заплясали пузырьки!

Почему событие это
Так обрадовало нас?
Фея северного лета,
Это, друг мой, суп для вас!

Трясогузка по соседству
По песку гуляла всласть...
Разве можно здесь не впасть
Под напевы моря в детство?

1914

Гунгербург

Огород

За сизо-матовой капустой
Сквозные зонтики укропа.
А там, вдали – где небо пусто —
Маячит яблоня-растрепа.
Гигантский лук напруг все силы
И поднял семена в коронке.
Кругом забор, седой и хилый.
Малина вяло спит в сторонке.
Кусты крыжовника завяли,
На листьях – ржа и паутина.
Как предосенний дух печали,
Дрожит над банею осина.
Но огород еще бодрее,
И гуще, и щедрей, чем летом.
Смотри! Петрушки и порей
Как будто созданы поэтом...
Хмель вполз по кольям пышной сеткой
И свесил гроздь светлых шишек.
И там, и там – под каждой веткой
Широкий радостный излишек.
Земля влажна и отдыхает.
Поникли мокрые травинки,
И воздух кротко подымает
К немому небу паутинки.
А здесь, у ног, лопух дырявый
Раскинул плащ в зеленой дреме...
Срываю огурец шершавый
И подношу к ноздрям в истоме.

Силуэты

Вечер. Ивы потемнели.
За стволами сталь речонки.
Словно пьяные газели,
Из воды бегут девчонки.
Хохот звонкий.
Лунный свет на белом теле.
Треск коряг...
Опустив глаза к дороге, ускоряю тихий шаг.

Наклонясь к земле стыдливо,
Мчатся к вороху одежды
И, смеясь, кричат визгливо...
Что им сумрачный прохожий?
Тени строже.
Жабы щелкают ревниво.
Спит село.
Темный путь всползает в гору, поворот – и всё ушло.

<1914>

Ромны^[192].

Белая колыбель

Ветер с визгом кра́дется за полость.
Закурился снежный океан.
Желтым глазом замигала волость
И нырнула в глубину полян.

Я согрелся в складках волчьей шубы,
Как детеныш в сумке кенгуру,
Только вихрь, взвевая к небу клубы,
Обжигает щеки на юру...

О, зима, холодный лебедь белый,
Тихий праздник девственных пространств!..
Промелькнул лесок заиндевельй,
Весь в дыму таинственных убранств.

Черный конь встречает ветер грудью.
Молчаливый кучер весь осел...
Отдаюсь просторам и безлюдью
И ударам острых снежных стрел.

<1916>

Кривцово

Сумерки

Хлопья, хлопья летят за окном,
За спиной теплый сумрак усадьбы.
Лыжи взять да к деревне удрать бы,
Взбороздив пелену за гумном...

Хлопья, хлопья!.. Всё глуше покой,
Снег ровняет бугры и ухабы.
Островерхие ели – как бабы,
Занесенные белой мукой;

За спиною стреляют дрова,
Пляшут тени... Мгновенья всё дольше.
Белых пчелок всё больше и больше...
На сугробы легла синева.

Никуда, никуда не пойду...
Буду долго стоять у окошка
И смотреть, как за алой сторожкой
Растворяется небо в саду.

<1916>

Кривцово

На пруду

Не ангелы ль небо с утра
Раскрасили райскою синькой?
Даль мирно сквозит до бугра
Невинною белой пустынькой...
Березки толпятся кольцом
И никнут в торжественной пудре,
А солнце румяным лицом
Сияет сквозь снежные кудри.
На гладком безмолвном пруду
Сверкают и гаснут крупицы.
Подтаяв, мутнеют во льду
Следы одинокой лисицы...
Пожалуй, лежит за кустом —
Глядит и, готовая к бегу,
Поводит тревожно хвостом
По свежему, рыхлому снегу...
Напрасно! Я кроток, как мышь...
И первый, сняв дружески шляпу,
Пожму, раздвигая камыш,
Твою оснеженную лапу.

Радость

По балке ходит стадо
Медлительных коров.
Вверху дрожит прохлада
И синенький покров.

На пне – куда как любо!
Далекий, мягкий скат...
Внизу кружит у дуба
Компания ребят.

Их красные рубашки
На зелени холмов,
Как огненные чашки
Танцующих цветов...

Девчонки вышивают,
А овцы там и сям
Сбегают и взбегают
По лакомым бокам.

Прибитая дорожка
Уходит вдаль, как нить...
Мышиного горошка
И палки б не забыть!

Шумит раakitник тощий,
Дыбятся облака.
Пойти в луга за рощей,
Где кротко спит Ока?

Встаю. В коленях дрема,
В глазах зеленый цвет.
Знакомый клоп Ерема

Кричит: «Заснул аль нет?»

Прощай, лесная балка!
Иду. Как ясен день...
В руке танцует палка,
В душе играет лень.

А крошечней мизинца
Мальш кричит мне вслед:
«Товарищ, дай гостинца!»
Увы, гостинца нет.

<1911>

Кривцово

Разгул

Буйно-огненный шиповник,
Переброшенная арка
От балкона до ворот,
Как несдержанный любовник,
Разгорелся слишком ярко
И в глаза, как пламя, бьет!

Но лиловый цвет глициний,
Мягкий, нежный и желанный,
Переплел лепной карниз,
Бросил тени в блекло-синий
И, изящный и жеманный,
Томно свесил кисти вниз.

Виноград, бобы, горошек
Лезут в окна своевольно...
Хоровод влюбленных мух,
Мириады пьяных мошек,
И на шпиле колокольном —
Зачарованный петух.

1907

Гейдельберг

Апельсин

Вы сидели в манто на скале,
Обхвативши руками колена.
А я – на земле,
Там, где таяла пена, —
Сидел совершенно один
И чистил для вас апельсин.

Оранжевый плод!
Терпко-пахучий и плотный...
Ты наливался дремотно
Под солнцем где-то на юге
И должен сейчас отправиться в рот
К моей серьезной подруге.
Судьба!

Пепельно-сизые финские волны!
О чем она думает,
Обхвативши руками колена
И зарывшись глазами в шумящую даль?

Принцесса! Подите сюда,
Вы не поэт, к чему вам смотреть,
Как ветер колотит воду по чреву?
Вот ваш апельсин!

И вот вы встали.
Раскинув малиновый шарф,
Отодвинули ветку сосны
И безмолвно пошли под смолистым навесом.
Я за вами – умильно и кротко.

Ваш веер изящно бил комаров —
На белой шее, щеках и ладонях.

Один, как тигр, укусил вас в пробор,
Вы вскрикнули, топнули гневно ногой
И спросили: «Где мой апельсин?»
Увы, я молчал.
Задумчивость, мать томно-сонной мечты,
Подбила меня на ужасный поступок...
Увы, я молчал!

<1911>

Утром

Бодрый туман, мутный туман
Так густо замазал окно —
А я умываюсь!
Бесится кран, фыркает кран...
Прижимаю к щекам полотенно
И улыбаюсь.
Здравствуй, мой день, серенький день!
Много ль осталось вас, мерзких?
Всё проживу!
Скуку и лень, гнев мой и лень
Бросил за форточку дерзко.
Вечером вновь позову...

<1910>

Тифлисская песня

Как лезгинская шашка твой стан,
Рот – рубин раскаленный!
Если б я был турецкий султан,
Я бы взял тебя в жены...

Под чинарой на пестром ковре
Мы играли бы в прятки.
Я б, склонившись к лиловой чадре,
Целовал твои пятки.

Жемчуг вплел бы тебе я средь кос!
Пусть завидуют люди...
Свое сердце тебе б я поднес
На эмалевом блюде...

Ты потупила взор, ты молчишь?
Ты скребешь штукатурку?
А зачем ты тихонько, как мышь,
Ночью бегаешь к турку?

Он проклятый мединский^[193] шакал!
Он шайтан^[194]! Он невежа!
Третий день я точку свой кинжал,
На четвертый – зарррежу!..

Искрошу его в мелкий шашлык...
Кабардинцу дам шпоры —
И на брови надвину башлык,
И умчу тебя в горы.

Прибой

Как мокрый парус, ударила в спину волна,
Скосила с ног, зажала ноздри и уши.
Покорно по пестрым камням прокатилась спина.
И ноги, в беспомощной лени, поникли на суше.
Кто плещет, кто хлещет, кто злится
в зеленой волне?

Лежу и дышу... Сквозь ресницы струится вода.
Как темный Самсон^[195], упираюсь о гравий руками
И жду... А вдали закипает, белеет живая гряда,
И новые волны веселыми мчатся быками...
Идите, спешите, – скорее, скорее, скорее!

Мотаюсь в прибое. Поэт ли я, рыба иль краб?
Сквозь влагу сквозит-расплывается бок полосатый,
Мне сверху кивают утесы и виллы, но, ах, я ослаб,
И чуть, в ответ, шевелю лишь ногой розовой.
Веселые, милые, белые-белые виллы...

Но взмыла вода. Ликующий берег исчез.
Зрачки изумленно впиваются в зыбкие скаты.
О, если б на пухнувший вал, отдуваясь и ухая, влез
Подводный играющий дьявол, пузатый-пузатый!..
Верхом бы на нем бы – в море...
далеко... далеко...

Соленым, холодным вином захлебнулись уста.
Сбегаёт вода, и шипит светло-пепельный гравий.
Душа обнажилась до дна, и чиста и пуста —
Ни дней, ни людей, ни идей, ни имен,
ни заглавий...
Сейчас разобьюсь – растворюсь

и о берег лениво ударю.

1912

Капри

Над морем

Над плоской кровлей древнего храма
Запели флейты морского ветра.
Забилась шляпа, и складки фетра
В ленивых пальцах дыбятся упрямо.

Направо море – зеленое чудо.
Налево – узкая лента пролива.
Внизу – безумная пляска прилива
И острых скал ярко-желтая гряда.

Крутая барка взрезает гребни,
Нырять, рвется и всё смелеет.
Раздулся парус – с холста алеет
Петух гигантский с поднятым гребнем.

Глазам так странно, душе так ясно:
Как будто здесь стоял я веками,
Стоял над морем на древнем храме
И слушал ветер в дремоте бесстрастной.

1912

Porto Venere. Spezia^[196].

Человек

Жаден дух мой! Я рад, что родился
И цвету на всемирном стволе.
Может быть, на Марсе и лучше,
Но ведь мы живем на Земле.

Каждый ясный – брат мой и друг мой,
Мысль и воля – мой щит против «всех»,
Лес и небо – как нежная правда,
А от боли лекарство – смех.

Ведь могло быть гораздо хуже:
Я бы мог родиться слепым,
Или платным предателем лучших,
Или просто камнем тупым...

Всё случайно. Приятно ль быть волком?
О, какая глухая тоска
Выть от вечного голода ночью
Под дождем у опушки леска...

Или быть безобразной жабой,
Глупо хлопать глазами без век
И любить только смрад трясины...
Я доволен, что я человек.

Лишь в одном я завидую жабе, —
Умирать ей, должно быть, легко:
Бессознательно вытянет лапки,
Побурчит и уснет глубоко.

Призраки

Неспокойно сердце бьется, в доме всё живое спит,
Равномерно, безучастно медный маятник стучит...
За окном темно и страшно, ветер в бешенстве
слепом
Налетит с разбега в стекла – звякнут стекла,
вздрагнет дом,
И опять мертво и тихо... но в холодной тишине
Кто-то крадучись, незримый, приближается ко мне.
Я лежу похолоделый, руки судорожно сжав,
Дикий страх сжимает сердце, давит душу,
как удав...
Кто неслышными шагами в эту комнату вошел?
Чьи белеющие тени вдруг легли на темный пол?
Тише, тише... Это тени мертвых, нищих, злых
недель
Сели скорбными рядами на горячую постель.
Я лежу похолоделый, сердце бешено стучит,
В доме страшно, в доме тихо, в доме всё живое
спит.
И под вой ночного ветра и под бой стенных часов
Из слепого мрака слышу тихий шепот вещих слов:
«Быть беде непоправимой, оборвешься, упадешь —
И к вершине заповедной ты вовеки не дойдешь».
Ночь и ветер сговорились: «Быть несчастьем,
быть беде!»
Этот шепот нестерпимый слышен в воздухе
езде,
Он из щелей выползает, он выходит из часов —
И под это предсказанье горько плакать я готов!..
Но блестят глаза сухие и упорно в тьму глядят,
За окном неугомонно ставни жалобно скрипят,
И причудливые тени пробегают по окну.

Я сегодня до рассвета глаз усталых не сомкну.

1906

* * *

Замираю у окна.
Ночь черна.
Ливень с плеском лижет стекла.
Ночь продрогла и измокла.
Время сна.
Время тихих сновидений,
Но тоска прильнула к лени,
И глаза ночных видений
Жадно в комнату впились.
Закачались, унеслись.
Тихо новые зажглись...
Из-за мокрого стекла
Смотрят холодно и строго,
Как глаза чужого бога, —
А за ними дождь и мгла.
Лоб горит.
Ночь молчит.
Летний ливень льнет и льется
Если тело обернется —
Будет свет.
Лампа, стол, пустые стены,
Размышляющий поэт
И глухой прибой вселенной.

1907

Гейдельберг

На кладбище

Весна или серая осень?
Березы и липы дрожат.
Над мокрыми шапками сосен
Тоскливо вороны кружат.

Продрогли кресты и ограды,
Могилы, кусты и пески,
И тускло желтеют лампы,
Как вечной тоски маяки.

Кочующий ветер сметает
С кустарников влажную пыль.
Отчаянье в сердце вонзает
Холодный железный костыль...

Упасть на могильные плиты,
Не видеть, не знать и не ждать,
Под небом навеки закрытым
Глубоко уснуть и не встать....

У Балтийского моря

1

Ольховая роща дрожит у морского обрыва,
Свежеющий ветер порывисто треплет листву,
Со дна долетают размерные всплески и взрывы,
И серый туман безнадежно закрыл синеву.
Пары, как виденья, роятся, клубятся и тают,
Сквозь влажную дымку маячит безбрежная даль,
Далекие волны с невидимым небом сливают
Раздолье и холод в жемчужно поющую сталь.
А здесь, на вершине, где крупная пыль водяная
Осыпала старые камни, поблекшие травы и мхи, —
Поднялся лиловый репейник, и эта улыбка цветная
Нежнее тумана и дробного шума ольхи...

2

Гнется тростник и какая-то серая травка,
Треплются ивы по ветру – туда и сюда,
Путник далекий мелькает в песках, как булавка,
Полузарытые бревна лижет морская вода.
Небо огромно, и тучи волнисты и сложны,
Море шумит, и не счесть белопенных валов.
Ветер метет шелестящий песок бездорожный,
Мерно за дюнами пенье сосновых стволов.
Я как песчинка пред этим безбрежным простором,
Небо и море огромны, дики и мертвы, —
К тесным стволам прижимаюсь растерянным
взором

И наклоняюсь к неясному шуму травы.

3

Ветер борется с плащом
И дыханье обрывает.
Ветер режущим бичом
Черный воздух рассекает.
В небе жутко и темно.
Звезды ежатся и стынют.
Пляска волн раскрыла дно,
Но сейчас другие хлынут.
Трепыхаются кусты —
Захлебнулись в вихре диком.
Из бездонной пустоты
Веет вечным и великим.
Разметались космы туч
И бегут клочками к югу.
На закате робкий луч
Холодеет от испуга.
Волны рвутся и гремят,
Закипают тусклой пеной,
И опять за рядом ряд
Налетает свежей сменой.
Только лампа маяка
Разгорается далеко,
Как усталая тоска,
Как задумчивое око.

4

Еле льющаяся зыбь вяло плещется у пляжа.
Из огромных облаков тихо лепятся миражи.

Словно жемчуг в молоке, море мягко, море чисто,
Только полосы сквозят теплотою аметиста.
Солнце низко у воды за завесой сизой тучи
Шлет вишневый страстный цвет,
тускло-матовый, но жгучий.
Мокрый палевый песок зашуршит, блеснет водою,
И опять сырая нить убегает за волною.
Горизонт спокойно тих, словно сдержанная
нежность,
Гаснут тени парусов, уплывающих
в безбрежность, —
Это тучи и вода с каждым мигом всё чудесней
Чуть баюкают закат колыбельной сонной песней...

Видно, север стосковался
По горячим южным краскам —
Не узнать сегодня моря, не узнать сегодня волн...

Зной над морем разметался,
И под солнечною лаской
Весь залив до горизонта синевой прозрачной полн.

На песке краснеют ивы,
Греют листья, греют прутья,
И песок такой горячий, золотистый, молодой!

В небе облачные нивы
На безбрежном перепутье
Собрались и янтарятся над широкою водой.

Снегири

На синем фоне зимнего стекла
В пустой гостиной тоненькая шведка
Склонилась над работой у стола,
Как тихая наказанная детка.

Суровый холст от алых снегирей
И палевых снопов – так странно мягко-нежен.
Морозный ветер дует из дверей,
Простор за стеклами однообразно-снежен.

Зловеще-холодно растет седая мгла.
Немые сосны даль околдовали.
О снегири, где милая весна?..

Из длинных пальцев падает игла,
Глаза за скалы робко убежали.
Кружатся хлопья. Ветер. Тишина.

Декабрь 1910 или начало 1911

Кавантсари

Из Флоренции

В старинном городе, чужом и странно близком,
Успокоение мечтой пленило ум.
Не думая о временном и низком,
По узким улицам плетешься наобум...

В картинных галереях – в вялом теле
Проснулись все мелодии чудес,
И у мадонн чужого Боттичелли^[197],
Не веря, служишь столько тихих месс^[198]...

Перед Давидом^[199] Микеланджело так жутко
Следить, забыв века, в тревожной вере
За выраженьем сильного лица!

О, как привыкнуть вновь к туманным суткам,
К растлениям, самоубийствам и холере,
К болотному терпению без конца?..

Война

Песня войны

Прошло семь тысяч пестрых лет —
Пускай прошло, ха-ха!
Еще жирнее мой обед,
Кровавая уха...
Когда-то эти дураки
Дубье пускали в ход
И, озверев, как мясники,
Калечили свой род:
Женщин в пламень,
Младенцев о камень,
Пленных на дно —
Смешно!

Теперь наука – мой мясник,
Уже средь облаков
Порой взлетает хриплый крик
Над брызгами мозгов.
Миллионы рук из года в год
Льют пушки и броню,
И всё плотней кровавый лед
Плывет навстречу дню.
Вопли прессы,
Мессы, конгрессы,
Жены – как ночь...
Прочь!

Кто всех сильнее, тот и прав,
А нужно доказать, —
Расправься с дерзким, как удав,
Чтоб перестал дышать!
Враг тот, кто рвет из пасти кость,
Иль – у кого ты рвешь.
Я на земле – бессменный гость,

И мир – смешная ложь!
Укладывай в гроб
Прикладами в лоб,
Штыки в живот, —
Вперед!

Между 1914 и 1917

Сборный пункт

На Петербургской стороне, в стенах военного училища^[200],
Столичный люд притих и ждет, как души бледные –
чистилища.

Сгрудясь пугливо на снопах, младенцев кормят грудью
женщины, —

Что горе их покорных глаз пред темным грохотом
военщины?

Ковчег-манеж^[201] кишит толпой. Ботфорты чавкают и
хлюпают.

У грязных столиков врачи нагое мясо вяло щупают.

Над головами в полумгле проносят баки с дымной кашею.

Оторопелый пиджачок, крестясь, прощается с папашею...

Скользят галантно писаря, – бумажки треплются под
мышками,

В углу, невинный василек, хохочет девочка с мальчишками.

У всех дверей, склонясь к штыкам, торчат гвардейцы
меднолицые.

И женский плач, звеня в висках, пугает близкой
небылицею...

А в стороне, сбив нас в ряды – для всех чужие и безликие, —

На спинах мелом унтера коряво пишут цифры дикие.

На фронт

За раскрытым пролетом дверей
Проплывают квадраты полей,
Перелески кружатся и веют одеждой зеленой,
И бегут телеграфные нити грядой монотонной...
Мягкий ветер в вагон луговую прохладу принес.
Отчего так сурова холодная песня колес?

Словно серые птицы, вдоль нар
Никнут спины замолкнувших пар, —
Люди смотрят туда, где сливается небо с землею,
И на лицах колеблются тени угрюмою мглою.
Ребятишки кричат и гурьбою бегут под откос.
Отчего так тревожна и жалобна песня колес?

Небо кротко и ясно, как мать, —
Стыдно бледные губы кусать!
Надо выковать новое, крепкое сердце из стали
И забыть те глаза, что последний вагон провожали.
Теплый ворот шинели шуршит у щеки и волос, —
Отчего так нежна колыбельная песня колес?

Август 1914

На этапе

Этапный двор кишел людьми – солдатскою толпой.
Квадрат казарм раскинул ввысь окошек ряд слепой.
Под сапогами ныла грязь, в углу пестрел ларек, —
Сквозь гроздь ржавой колбасы дул вешний ветерок.
Защитный цвет тупым пятном во все концы – распух,
От ретирадов^[202] у стены шел нудный смрадный дух...
Весь день плывет сквозь ворота солдатская река:
Одни – на фронт, другие – в тыл, а третьи – в отпуска...
А за калиной возле бань в загоне – клин коров.
Навоз запекся на хребтах... Где луг? Где лес?
Где кров?..
В глазах – предчувствие и страх. Вздыхают и мычат...
Солдаты сумрачно стоят, и смотрят, и молчат.

Между 1914 и 1917

Атака

На утренней заре
Шли русские в атаку...
Из сада на бугре
Враг хлынул лавой в драку.

Кровавый дым в глазах,
Штыки ежами встали, —
Но вот в пяти шагах
И те и эти стали.

Орут, грозят, хрипят,
Но две стены ни с места —
И вот... пошли назад,
Взбивая грязь, как тесто.

Весна цвела в саду.
Лазурь вверху сквозила...
В пятнадцатом году
Под Ломжей^[203] это было.

Между 1915 и 1917

Один из них

Двухпудовые ботфорты,
За спиной – мешок горбом,
Ноги до крови натерты.
За рекой – орудий гром...
Наши серые когорты
Исчезают за холмом.

Я наборщик из Рязани,
Беспокойный человек.
Там, на рынке, против бани,
Жил соперник, пекарь-грек:
Обольстил модистку Таню,
Погубил меня навек...

Продал я пиджак и кольца,
Всё равно ложиться в гроб!
Зазвенели колокольцы,
У ворот мелькнул сугроб...
Записался в добровольцы
И попал ко вшам в окоп.

Исходил земные дали,
Шинелёнка – как тряпье...
Покурить бы хоть с печали,
Да в кисете... Эх, жите!
Пленным немцам на привале
Под Варшавой роздал всё.

Подсади, земляк, в повозку,
Истомился, не дойти...
Застучал приклад о доску,
Сердце замерло в груди —
Ветер рвет и гнет березку,

Пыль кружится на пути.

За оврагом перепалка:
Пули елочки стригут...
Целовала, как русалка,
А теперь – терзайся тут!
Хочешь водки? Пей, не жалко!
Завтра всё равно убьют.

Между 1914 и 1917

Привал

У походной кухни лентой —
Разбитная солдатня.
Отогнув подол брезента,
Кашевар поит коня...

В крышке гречневая каша,
В котелке дымятся щи.
Небо – синенькая чаша,
Над лозой гудят хрущи.

Сдунешь к краю лист лавровый,
Круглый перец сплюнешь вбок,
Откройшь ломоть здоровый,
Ешь и смотришь на восток.

Спать? Не клонит... Лучше к речке —
Гимнастерку простирать.
Солнце пышет, как из печки.
За прудом темнеет гать.

Желтых тел густая каша,
Копошась, гудит в воде...
Ротный шут, ефрейтор Яша,
Рака прячет в бороде.

А у рощицы тенистой
Сел четвертый взвод в кружок.
Русской песней голосистой
Захлебнулся бережок.

Солнце выше, песня лише:
«Таракан мой, таракан!»
А басы ворчат всё тише:

«Заполз Дуне в сарафан...»

Между 1914 и 1917

В операционной

В коридоре длинный хвост носилок...
Все глаза слились в тревожно-скорбный
взгляд, —
Там, за белой дверью, красный ад:
Нож визжит по кости, как напилочек, —
Острый, жалкий и звериный крик
В сердце вдруг вонзается, как штык...
За окном играет майский день.
Хорошо б пожить на белом свете!
Дома – поле, мать, жена и дети, —
Всё темней на бледных лицах тень.
А там, за дверью, костлявый хирург,
Забрызганный кровью, словно пятнистой вуалью,
Засучив рукава,
Взрезает острою сталью
Зловонное мясо...

Осколки костей
Дико и странно наружу торчат,
Словно кричат
От боли.

У сестры дрожит подбородок,
Чад хлороформа – как сладкая водка;
На столе неподвижно желтеет
Несчастное тело.
Пскович-санитар отвернулся,
Голую ногу зажав неумело,
И смотрит, как пьяный, на шкаф...
На полу безобразно алеет
Свежим отрезом бедро.
Полное крови и гноя ведро...
За стеклами даль зеленеет,

Чета голубей
Воркует и ходит бочком вдоль карниза.
Варшавское небо – прозрачная риза —
Всё голубей...

Усталый хирург
Подходит к окну, жадно дымит папироской,
Вспоминает родной Петербург
И хмуро трясет на лоб набежавшей прической:
Каторжный труд!
Как дрова, их сегодня несут,
Несут и несут без конца...

Между 1914 и 1917

Письмо от сына

Хорунжий^[204] Львов принес листок,
Измятый розовый клочок,
И фыркнул: «Вот писака!»
Среди листка кружок-пунктир,
В кружке каракули: «Здесь мир»,
А по бокам: «Здесь драка».

В кружке царила тишина:
Сияло солнце и луна,
Средь роз гуляли пары,
А по бокам толпа чертей,
Зигзаги огненных плетей
И желтые пожары.

Внизу, в полоске голубой:
«Ты не ходи туда, где бой.
Целую в глазки. Мишка».
Вздыхнул хорунжий, сплюнул вбок
И спрятал бережно листок:
«Шесть лет. Чудак, мальчишка!..»

Между 1914 и 1917

Легенда

Это было на Пасху, на самом рассвете:
Над окопами таял туман.
Сквозь бойницы темнели колючие сети,
И качался засохший бурьян.

Воробьи распевали вдоль насыпи лихо.
Жирным смрадом курился откос...
Между нами и ими печально и тихо
Проходил одинокий Христос.

Но никто не узнал, не поверил виденью:
С криком вскинулись стаи ворон,
Злые пули дождем над святою мишенью
Засвистали с обеих сторон...

И растаял – исчез он над гранью оврага,
Там, где солнечный плавился склон.
Говорили одни: «Сумасшедший бродяга»,
А другие: «Жидовский шпион»...

Между 1914 и 1917

В штабе ночью

В этом доме сумасшедших
Надо быть хитрей лисы:
Чуть осмыслишь, чуть очнешься —
И соскочишь с полосы...
Мертвым светом залит столик.
За стеной храпит солдат.
Полевые телефоны
Под сурдинку верещат.
На столе копна пакетов —
Бухгалтерия войны:
«Спешно», «В собственные руки»...
Клоп гуляет вдоль стены.
Сердце падает и пухнет,
Алый шмель гудит в висках.
Смерть, смеясь, к стеклу прильнула...
Эй, держи себя в руках!
Хриплый хохот сводит губы:
Оборвать бы провода...
Шашку в дверь! Пакеты в печку! —
И к собакам – навсегда.
Отошло... Забудь, не надо:
С каждым днем – короче счет...
Перебой мотоциклета
Закудахтал у ворот.

Между 1914 и 1917

Отступление

Штабы поднялись. Оборвалась торговля и труд.
Весь день по шоссе громяют обозы.
Тяжелые пушки, как дальние грозы,
За лесом ревут.
Кругом горизонта пылают костры:
Сжигают снопы золотистого жита, —
Полнеба клубами закрыто...
Вдоль улицы – нищего скарба бугры.
Снимаются люди – бездомные птицы-скитальцы,
Фургоны набиты детьми, лошаденки дрожат...
Вдали по жнивью, обмотав раздробленные
пальцы,
Угрюмо куда-то шагает солдат.
Возы и двуколки, и кухни, и девушка с клеткой
в телеге,
Поток бесконечных колес,
Тревожная мысль о ночлеге,
И в каждом глазе торопливо-пытливый вопрос.
Встал месяц – оранжевый щит.
Промчались казаки. Грохочут обозы, —
Всё глуше и глуше невидимых пушек угрозы...
Всё громче бездомное сердце стучит.

Между 1914 и 1917

На поправке

Одолела слабость злая,
Ни подняться, ни вздохнуть:
Девятнадцатого мая
На разведке ранен в грудь.

Целый день сижу на лавке
У отцовского крыльца.
Утки плещутся в канавке,
За плетнем кричит овца.

Всё не верится, что дома...
Каждый камень – словно друг.
Ключ бежит тропой знакомой
За овраг в зеленый луг.

Эй, Дуняша, королева,
Глянь-ка, воду не пролей!
Бедра вправо, ведра влево,
Пятки сахара белей.

Подсобить? Пустое дело!..
Не удержишь – поплыла,
Поплыла, как лебедь белый,
Вдоль широкого села.

Тишина. Поля глухие,
За оврагом скрип колес.
Эх, земля моя Россия,
Да хранит тебя Христос!

Чужое солнце

Из цикла «С приятелем»

1

Сероглазый мальчик, радостная птица,
Посмотри в окошко на далекий склон:
Полосой сбегает желтая пшеница,
И леса под солнцем – как зеленый сон.

Мы пойдем с тобою к ласковой вершине
И орловской песней тишину вспугнем.
Там холмы маячат полукругом синим,
Там играют пчелы над горбатым пнем...

Если я отравлен темным русским ядом,
Ты – веселый мальчик, сероглазый гном...
Свесим с камня ноги, бросим палки рядом,
Будем долго думать, каждый о своем.

А потом свернем мы в чашу к букам серым,
Сыроежек пестрых соберем в мешок.
Ржавый лист сквозит там, словно мех пантеры,
Белка нас увидит – вскочит на сучок.

Всё тебе скажу я, всё, что сам я знаю:
О грибах-горкушах, про житье ежей;
Я тебе рябины пышной наломаю...
Ты ее не помнишь у родных межей?

А когда тумана мглистая одежда
Встанет за горой – мы вниз сбежим свистя.
Зрей и подымайся, русская надежда,
Сероглазый мальчик, ясное дитя!..

* * *

Когда, как бес,
Летишь на санках с гор,
И под отвес
Сбегает снежный бор,
И плещет шарф над сильною рукой, —
Не упрекай за то, что я такой!

Из детства вновь
Бегут к глазам лучи...
Проснулась кровь,
В душе поют ключи,
Под каблуком взлетает с визгом снег, —
Благословен мальчишеский разбег!

Но обернись:
Усталый и немой,
Всползаю ввысь,
Закованный зимой...
За легкий миг плачу глухой тоской.
Не упрекай за то, что я такой!

<1923>

Мираж

С девочками Тосей и Инной
В сиреневый утренний час
Мы вырыли в пляже пустынном
Кривой и глубокий баркас.

Борта из песчаного крема.
На скамьях пестрели кремни.
Из ракушек гордое «Немо»^[205]
Вдоль носа белело в тени.

Мы влезли в корабль наш пузатый.
Я взял капитанскую власть.
Купальный костюм полосатый
На палке зареял, как снасть.

Так много чудес есть на свете!
Земля – неизведанный сад...
«На Яву?» Но странные дети
Шепнули, склонясь: «В Петроград».

Кайма набежавшего вала
Дрожала, как зыбкий опал.
Команда сурово молчала,
И ветер косички трепал...

По гребням запрыгали баки.
Вдали над пустыней седой
Сияющей шапкой Исаакий^[206]
Миражем вставал над водой.

Горели прибрежные мели,
И кланялся низко камыш:
Мы долго в тревоге смотрели

На пятна синеющих крыш.

И младшая робко сказала:
«Причалим иль нет, капитан?»
Склонившись над кругом штурвала,
Назад повернул я в туман.

1922

Kölpinsee^[207].

Над всем

Сквозь зеленые буки желтеют чужие поля.
Черепицей немецкой покрыты высокие кровли.
Рыбаки собирают у берега сети для ловли.
В чаще моря застыл белокрылый хребет корабля.
Если тихо смотреть из травы – ничего не случилось,
Ничего не случилось в далекой несчастной земле...
Отчего же высокое солнце туманом затмилось
И холодные пальцы дрожат на поникшем челе?..

Лента школьников вышла из рожи к дороге лесной,
Сквозь кусты, словно серны, сквозят загорелые ноги,
Свист и песни, дробясь, откликаются радостно в логе,
Лягушонок уходит в канаву припрыжкой смешной.
Если уши закрыть и не слушать чужие слова
И поверить на миг, что за ельником русские дети, —
Как угрюмо потом, колыхаясь, бормочет трава
И зеленые ветви свисают, как черные плети...

Мысль, не веря, взлетает над каждым знакомым селом,
И кружит вдоль дорог, и звенит над родными песками...
Чингисхан^[208], содрогаясь, закрыл бы ланиты руками!
Словно саван, белеет газета под темным стволом.
Если чащей к обрыву уйти – ничего не случилось...
Море спит, – переливы лучей на сквозном корабле.
Может быть, наше черное горе нам только приснилось?
Даль молчит. Облака в голубеющей мгле...

1922

Kölpinsee

* * *

Грубый грохот северного моря.
Грязным дымом стынут облака.
Черный лес, крутой обрыв узоря,
Окаймил пустынный борт песка.
Скучный плеск, пронизанный шипеньем,
Монотонно точит тишину.
Разбивая пенный вал на звенья,
Насыпь душит мутную волну...
На рыбацьем стареньком сарае
Камышинка жалобно пищит,
И купальня дальняя на сваях
Австралийской хижинкой торчит.
Но сквозь муть маяк вдруг брызнул светом,
Словно глаз из-под свинцовых век:
Над отчаяньем, над бездной в мире этом
Бодрствует бессонный человек.

1922

Kölpinsee

* * *

Тех, кто страдает гордо и угрюмо,
Не видим мы на наших площадях:
Задавлены случайною работой,
Таятся по мансардам и молчат...
Не спекулируют, не пишут манифестов,
Не прокурорствуют с партийной высоты,
И из своей больной любви к России
Не делают профессии лихой...
Их мало? Что ж... Но только ими рдеют
Последние огни родной мечты.
Я узнаю их на спектаклях русских
И у витрин с рядами русских книг —
По строгому, холодному обличью,
По сдержанной печали жутких глаз...
В Америке, в Каире иль в Берлине
Они одни и те же: боль и стыд.
Они – Россия. Остальное – плесень:
Валюта, декламация и ложь,

Развязная, заносчивая наглость,
Удобный символ безразличных – «наплевать»,
Помойка сплетен, купля и продажа,
Построчная истерика тоски
И два десятка эмигрантских анекдотов...

<1923>

Русская Помпея

* * *

Прокуроров было слишком много!
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога
И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это всё, что здесь мы сберегли...
И встает бывшее светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...

<1923>

Весна на Крестовском [209]

А. И. Куприну

Сеть лиственниц выгнала алые точки.
Белеет в саду флигелек.
Кот томно обходит дорожки и кочки
И нюхает каждый цветок.
Так радостно бросить бумагу и книжки.
Взять весла и хлеба в кульке,
Коснуться холодной и ржавой задвижки
И плавно спуститься к реке...
Качается пристань на бледной Крестовке.
Налево – Елагинский мост.
Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,
А небо – как тихий погост.
Черемуха пеной курчавой покрыта,
На ветках мальчишки-жулье.
Веселая прачка склонила корыто,
Поет и полощет белье.
Затекшие руки дорвались до гребли.
Уключины стонут чуть-чуть.
На веслах повисли какие-то стебли,
Мальки за кормою как ртуть...
Под мостиком гулким качается плесень.
Копыта рокочут вверху.
За сваями эхо чиновничьих песен,
А ивы – в цыплячем пуху...
Краснеют столбы на воде возле дачки,
На ряби – цветная спираль.
Гармонь изнывает в любовной горячке,
И в каждом челне – пастораль.
Вплываю в Неву. Острова – как корона:
Волнисто-кудрявая грань...
Летят рысаки сквозь зеленое лоно.

На барках ленивая брань.
Пестреет нарядами дальняя Стрелка^[210].
Вдоль мели – щетиной камыш.
Всё шире вода – голубая тарелка,
Всё глубже весенняя тишь...
Лишь катер порой пропыхтит торопливо,
Горбом залоснится волна,

Матрос – словно статуя, вымпел – как грива,
Качнешься – и вновь тишина...
О родине каждый из нас вспоминая,
В тоскующем сердце унес
Кто Волгу, кто мирные склоны Валдая,
Кто заросли ялтинских роз...
Под пеплом печали храню я ревниво
Последний счастливый мой день:
Крестовку, широкое лоно разлива
И Стрелки зеленую сень.

<1921>

Гостиный двор

Как прохладно в гостиных рядах!
Пахнет нефтью и кожей
И сырою рогожей...
Цепи пыльною грудой темнеют на ржавых пудах,
У железной литой полосы
Зеленеют весы.
Стонут толстые голуби глухо,
Выбирают из щелей овес...
Под откос,
Спотыкаясь, плетется слепая старуха,
А у лавок, под низкими сводами стен,
У икон – янтареют лампадные чашки,
И купцы с бородами до самых колен
Забавляются в шашки.

1917

Псков

«Сатирикон»

(Памяти Аркадия Аверченко^[211].)

Над Фонтанкой сизо-серой
В старом добром Петербурге
В низких комнатах уютных
Расцветал «Сатирикон».
За окном пестрели барки
С белоствольными дровами,
А напротив Двор Апраксин^[212]
Подымал хоромы ввысь.

В низких комнатах уютных
Было шумно и привольно...
Сумасбродные рисунки
Разлеглись по всем столам.
На окне сидел художник
И калинкинское пиво^[213],
Запрокинув кверху гриву,
С упоением сосал.

На диване два поэта,
Как беспечные кентавры,
Хохотали до упаду
Над какой-то ерундой...
Почтальон стоял у стойки
И посматривал тревожно
На огромные плакаты
С толстым дьяволом внутри^[214].

Тихий крохотный издатель^[215]
Деликатного сложенья
Пробегал из кабинета,
Как испуганная мышь.

Кто-то в ванной лаял басом,
Кто-то резвыми ногами
За издателем помчался,
Чтоб аванс с него сорвать...

А в сторонке в кабинете
Грузный медленный Аркадий,
Наклонясь над грудой писем,
Почту свежую вскрывал:
Сотни диких графоманов
Изо всех уездных щелей
Насылали горы хлама —
Хлама в прозе и в стихах.

Ну и чушь! В зрачках хохлацких
Искры хитрые дрожали:
В первом ящике почтовом [\[216\]](#)
Вздернет на кол – и аминь!
Четким почерком кудрявым
Плел он вязь, глаза прищурив,
И сифон с водой шипучей,
Чертыхаясь, осушал.

Ровно в полдень встанет. Баста!
Сатирическая банда,
Гулко топая ногами,
Вдоль Фонтанки шла за ним
К Чернышеву переулку [\[217\]](#)...
Там в гостинице «Московской»
Можно вдосталь съесть и выпить,
Можно всласть похохотать.

Хвост прохожих возле сквера
Оборачивался в страхе,
Дети, бросив свой песочек,
В рот пихали кулачки:
Кто такие? Что за хохот?

Что за странные манеры?
Мексиканские ковбои?
Укротители зверей?..

А под аркой министерства
Околоточный знакомый,
Добродушно ухмыляясь,
К козырьку вносил ладонь:
«Как, Аркадий Тимофеич,
Драгоценное здоровье?»
– «Ничего, живем – не тужим...
До ста лет решил скрипеть!»

До ста лет, чудак, не дожил...
Разве мог он знать и чують,
Что за молодостью дерзкой,
Словно бесы, налетят
Годы красного разгула,
Годы горького скитанья,
Засыпающие пеплом
Все веселые глаза...

Пасха в Гатчине^[218]

А. И. Куприну^[219]

Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь гатчинского парка
И домик Куприна.
Пасхальная неделя —
Беспечных дней кольцо,
Зеленый пух апреля,
Скрипучее крыльцо...
Нас встретил дом уютом
Веселых голосов
И пушечным салютом
Двух сенбернарских псов.
Хозяин в тюбетейке,
Приземистый как дуб,
Подводит нас к индейке,
Склонивши набок чуб...
Он сам похож на гостя
В своем жилье простом...
Какой-то дядя Костя
Бьет в клавиши перстом...
Поют нескладным хором, —
О, ты, родной козел!
Весенним разговором
Жужжит просторный стол.
На гиацинтах алых
Морозно-хрупкий мат.
В узорчатых бокалах
Оранжевый мускат.
Ковер узором блеклым
Покрыл бугром тахту,
В окне – прильни-ка к стеклам —

Черемуха в цвету!

Вдруг пыль из подворотни,
Скрип петель в тишине, —
Казак уральской сотни
Въезжает на коне.
Ни на кого не глядя,
У темного ствола
Огромный черный дядя
Слетел пером с седла.
Хозяин дробным шагом
С крыльца, пыхтя, спешит.
Порывистым зигзагом
Взметнулась чернь копыт...
Сухой и горбоносый,
Хорош казачий конь!
Зрачки чуть-чуть раскосы, —
Не подходи! Не тронь!
Чужак погладил темя,
Пощекотал чело
И вдруг, привстав на стремя,
Упруго влип в седло...
Всем телом навалился,
Поводья в горсть собрал, —
Конь буйным чертом взвился,
Да, видно, опоздал!
Не рысь, а сарабанда^[220]...
А гости из окна
Хвалили дружной бандой
Посадку Куприна...

Вспотел и конь, и всадник.
Мы сели вновь за стол...
Махинище-урядник
С хозяином вошел.
Копна прически львиной,
И бородище – вал.

Перекрестился чинно,
Хозяйке руку дал...
Средь нас он был как дома,
Спокоен, прост и мил.
Стакан огромный рома
Степенно осушил.
Срок вышел. Дома краше...
Через четыре дня
Он уезжал к папаше
И продавал коня.
«Цена... ужо успеем».
Погладил свой лампас,
А чуб цыганский змеем
Чернел до самых глаз.
Два сенбернарских чада
У шашки встали в ряд:
Как будто к ним из сада
Пришел их старший брат...
Хозяин, глянув зорко,
Поглаживал кадык.
Вдали из-за пригорка
Вдруг пискнул паровик.
Мы пели... Что? Не помню.
Но так рычит утес,
Когда в каменоломню
Сорвется под откос...

Март 1926

Париж

Из эмигрантского альбома

Мой роман

Кто любит прачку, кто любит маркизу,
У каждого свой дурман, —
А я люблю консьержкину Лизу,
У нас – осенний роман.

Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, —
Смешна любовь напоказ!
Но всё ж тайком от матери строгой
Она прибегает не раз.

Свою мандолину снимаю со стенки,
Кручу залихватски ус...
Я отдал ей всё: портрет Короленки
И нитку зеленых бус.

Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу,
Грызём соленый миндаль.
Нам ветер играет ноябрьскую фугу^[221],
Нас греет русская шаль.

А Лизин кот, прокравшись за нею,
Обходит и нюхает пол.
И вдруг, насмешливо выгнувши шею,
Садится пред нами на стол.

Каминный кактус к нам тянет колючки,
И чайник ворчит, как шмель...
У Лизы чудесные теплые ручки
И в каждом глазу – газель.

Для нас уже нет двадцатого века,
И прошлого нам не жаль:
Мы два Робинзона, мы два человека,

Грызущие тихо миндаль.

Но вот в передней скрипят половицы,
Раскрылась створка дверей...
И Лиза уходит, потупив ресницы,
За матерью строгой своей.

На старом столе перевернуты книги,
Платочек лежит на полу.
На шляпе валяются липкие фиги.
И стул опрокинут в углу.

Для ясности, после ее ухода,
Я все-таки должен сказать,
Что Лизе – три с половиною года...
Зачем нам правду скрывать?

1927

Париж

Легкие стихи

В погожий день,
Когда читать и думать лень,
Плетешься к Сене, как тюлень,
С мозгами набекрень.

Куст бузины.
Веревка: фартук и штаны...
Сирень, лиловый сон весны,
Томится у стены.

А за кустом —
Цирюльник песий под мостом;
На рундучке, вертя хвостом,
Лежит барбос пластом.

Урчит вода,
В гранитный бык летит слюда.
Буксир орет: «Ку-да? Ку-да?!»
И дым как борода.

Покой. Уют.
Пустая пристань – мой приют.
Взлетает галстук, словно жгут, —
Весенний ветер лют.

Пора в поход...
Подходит жаба-пароход,
Смешной распластанный урод.
На нем гурьбой народ.

И вот – сижу...
Винт роет белую межу.
С безбрежной нежностью пляжу

На каждую баржу.

Кусты, трава...
Подъемных кранов рукава,
Мосты – заводы – синева
И кабаки... Са-ва^[222]!

А по бокам,
Прильнув к галантным пиджакам,
К цветным сорочкам и носкам,
Воркует стая дам.

Но я – один.
На то четырнадцать причин:
Усталость, мудрость, возраст, сплин,
Куда ни кинь, всё клин.

Поют гудки.
Цветут холмы, мосты легки.
Ты слышишь гулкий плеск реки?
Вздыхаешь?.. Пустяки!

Сказка про красного бычка

За годом год
Коллективный красный кретин
С упорством сознательной прачки
Травил интеллигентов:
«Вредителей» – к стенке,
Спецов – по шапке,
Профессоров – в Соловки^[223],
Науку – под ноготь...
Каждый партийный маляр
Клал на кафедру ноги,
Дирижировал университетами,
Директорствовал на заводах...
Как дикий кабан на капитанском мостике,
Топтался на одном месте:
Смыкал ножницы,
Склеивал слюной бешеной собаки
Прорывы и неувязки, —
Плакаты! Плакаты! Лозунги! Фронты!

Чучело Чемберлена^[224]!..
В итоге – пошехонский^[225],
Планетарный, бездарный
Шиш...
Партийные Иванушки-Дурачки в кепках
Даже и не подозревали,
Что каждая гайка в каждом станке
Изобретена интеллигентскими мозгами,
Что в каждом штепселе —
Залежи ума и горы знания,
Что поколения зрячих, одно за другим,
В тиши кабинетов,
В лабораториях
Изобретали, числили, мерили,

Чтоб из руды, из огня, из бурой нефти
Сделать человеку покорных слуг...
Иванушки-Дурачки
Сели задом наперед на украденный трактор,
Партийный Стенька Разин свистнул в два пальца, —
Через ухабы, через буераки
Напролом по башкирско-марксистскому компасу:
«Из-за острова... влево... на стрежень ^[226],
К чертям на рога! Вали!»
И вот, когда ржавый трактор
Свалился кверху колесами в смрадную топь,
Когда в деревнях не стало ни иглы, ни гвоздя,
Когда серп и молот можно было увидеть
Лишь на заборных плакатах,
Когда свои интеллигенты, Святые Дурни,
Сдавленные партийными задачами,
Связанные по рукам и ногам,
Хрипели под досками ^[227], —
Тогда красные ослы призвали
Спецо-варягов ^[228]:
«Тройной оклад! Отборное меню!
Барские квартиры за проволочными
заграждениями!
Оазисы сытого буржуазного жития
Средь нищей пустыни!
Стройте! Гоните! Сдавайте мозги напрокат, —
Свои заплевали... Чужие надежней...»
И вот потянулись из разных стран
Высокопробные роботы:
Китай, Гвинея, Советская ль Вотчина, —
Деньги не пахнут, икра не смердит,
Соловецких стонов не слышно...
Завод на завод! Этаж на этаж!
Электрический трест для выделки масла
Из трупных червей!
Небоскребы из торфа! Свинец из трахомы!
Крематории с самоновейшим комфортом

Для политкаторжан!
Самогон из мощей Ильича! Перегоним Америку!..
И снова шиш... Стоэтажный шиш,
Грандиозный, советский, сталинский шиш...
И снова клич:
«Милость беспартийным!
Пощада интеллигентам!
Амнистия мозгам!
Выдать пострадавшим и недомученным премию
(По расчету – за каждый плевок по копейке)», —
ГПУ^[229] утирает обиженным слезы,
Сталин прижимает спецов к косматому сердцу,
Варяги укладывают чемоданы,
Горький, проклинавший на прошлой неделе интеллигентов,
Объявляется уклонистом,
Партийные маляры почесываются на командных высотах, —
Гремит Интернационал!
Гремит Интернационал! Красный штандарт скачет!
Пятилетка задом наперед взлезает
На старый, изломанный трактор,
И сказка про красного бычка начинается сначала...

<1931>

В угловом бистро

1. Каменщики

Ноги грузные расставивши упрямо,
Каменщики в угловом бистро сидят, —
Локти широко уперлись в мрамор...
Пьют, беседуют и медленно едят.

На щеках – насечкою известка,
Отдыхают руки и бока.
Трубку темную зажав в ладони жесткой,
Крайний смотрит вдаль, на облака.

Из-за стойки розовая тетка
С ними шутит, сдвинув вина в масть...
Пес хозяйский подошел к ним кротко,
Положил на столик волчью пасть.

Дремлют плечи, пальцы – на бокале.
Усмехнулись, чокнулись втроем.

Никогда мы так не отдыхали,
Никогда мы так не отдохнем...

Словно житель Марса, наблюдаю
С завистью беззлобной из угла:
Нет пути нам к их простому раю,
А ведь вот он – рядом, у стола...

2. Чуткая душа

Сизо-дымчатый кот,
Равнодушно-ленивый скот,
Толстая муфта с глазами русалки,
Чинно и валко
Обошел всех знакомых ему до ногтей
Обычных гостей...
Соблюдая старинный обычай
Кошачьих приличий,
Обнюхал все каблуки,
Гетры, штаны и носки,
Потеря о все знакомые ноги...
И вдруг, свернувши с дороги,
Клубком по стене —
Спираль волнистых движений, —
Повернулся ко мне
И прыгнул ко мне на колени.

Я подумал в припадке амбиции:
Конечно, по интуиции
Животное это
Во мне узнало поэта...
Кот понял, что я одинок,
Как кит в океане,
Что я засел в уголок,
Скрестив усталые длани,
Потому что мне тяжело...
Кот нежно ткнулся в рубашку —
Хвост заходил, как лоза, —
И взглянул мне с тоскою в глаза...
«О друг мой! – склонясь над котом,
Шепнул я, краснея. —
Прости, что в душе я
Тебя обругал равнодушным скотом»...
Но кот, повернувши свой стан,
Вдруг мордой толкнулся в карман:
Там лежало полтавское сало в пакете.

Нет больше иллюзий на свете!

<1932>

Меланхолическое

Для души купил я нынче
На базаре сноп сирени, —
Потому что под сиренью
В гимназические годы
Двум житомирским Цирцеям^[230],
Каждой порознь, в вечер майский
С исключительною силой
Объяснялся я в любви...

С той поры полынный запах
Нежных гвоздиков лиловых
Каждый год меня волнует,
Хоть пора б остепениться,
Хоть пора б понять, ей-богу,
Что давно уж между нами —
Тем житомирским балбесом
И солидным господином,
Нагрузившимся сиренью, —
Сходства нет ни на сантим^[231]...

Для души купил сирени,
А для тела – черной редьки.

В гимназические годы
Этот плод благословенный,
Эту царственную овощь
Запивали мы в беседке
(Я и два семинариста)
Доброй старкой – польской водкой, —
Янтареющим на солнце
Горлодером огневым...

Ничего не пью давно я.

На камин под сноп сирени
Положил, вздохнув, я редьку —
Символ юности дурацкой,
Пролетевшей кувырком...
Живы ль нынче те Цирцеи?
Может быть, сегодня утром
У прилавка на базаре,
Покупая сноп сирени,
Наступал я им на туфли, —
Но в изгнанье эмигрантском
Мы друг друга не узнали?..

Потому что только старка
С каждым годом всё душистей,
Всё забористей и крепче, —
А Цирцеи и поэты...
Вы видали куст сирени
В средних числах ноября?

<1932>

Пластика

Из палатки вышла дева
В васильковой нежной тоге,
Подошла к воде, как кошка,
Омочила томно ноги
И медлительным движеньем
Тогу сбросила на гравий, —
Я не видел в мире жеста
Грациозней и лукавей!

Описать ее фигуру —
Надо б красок сорок ведер...
Даже чайки изумились
Форме рук ее и бедер...
Человеку же казалось,
Будто пьяный фавн украдкой
Водит медленно по сердцу
Теплой бархатной перчаткой.

Наблюдая хладнокровно
Сквозь камыш за этим дивом,
Я затягивался трубкой
В размышлении ленивом:
Пляж безлюден, как Сахара, —
Для кого ж сие творенье
Принимает в море позы
Высочайшего давленья?

И ответило мне солнце:
«Ты дурак! В яру безвестном
Мальва цвет свой раскрывает
С бескорыстием чудесным...
В этой щедрости извечной
Смысл божественного свитка...

Так и девушки, мой милый,
Грациозны от избытка».

Я зевнул и усмехнулся...
Так и есть: из-за палатки
Вышел хлыщ в трико гранатном,
Вскинул острые лопатки.
И ему навстречу дева
Приняла такую позу,
Что из трубки, поперхнувшись,
Я плотнул двойную дозу...

<1932>

Парижские частушки

Ветерок с Бульвар-Мишеля^[232]
Сладострастно дует в грудь...
За квартиру он не платит, —
Отчего ж ему не дуть.

У французского народа
Чтой-то русское в крови:
По-французски – запеканка,
А по-русски – «о-де-ви»^[233].

Все такси летят как бомбы.
Сторонись, честной народ!
Я ажану^[234] строю глазки, —
Может быть, переведет.

На писательском балу^[235]
Я покуролесила:
Потолкалась, съела кильку, —
Очень было весело!

Эх ты, карт д'идантитэ^[236],
Либерте-фратернитэ^[237]!
Где родился, где ты помер,
Возраст бабушки и – номер...

Заказали мне, – пардон, —
Вышивать комбинезон...
Для чего ж там вышивать,
Где узора не видать?

Вниз по матушке по Сене^[238]
Пароход вихляется...
Милый занял двадцать франков —

Больше не является.

Сверху море, снизу море,
Посередке Франция,
С кем бы мне поцеловаться
На подземной станции?

Мне мясник в кредит не верит —
Чтой-то за суровости?
Не пойти ли к консультанту
В «Последние новости»^[239]?

Чем бы, чем бы мне развлечься?
Нынче я с получкою.
На Марше-о-пюс^[240] сметаюсь,
Куплю швабру с ручкою.

На булонском на пруде^[241]
Лебедь дрыхнет на воде,
Надо б с энтих лебедей
Драть налоги, как с людей...

Как над Эйфелевой башней
В небе голубь катится...
Я для пачпорта снималась —
Вышла каракатица.

Над Латинским над кварталом
Солнце разгорается...
У консьержки три ребенка,
А мне воспрещается.

Мой земляк в газете тиснул
Объявление в рамке:
«Бывший опытный настройщик
Ищет место мамки».

<1930>

Солнце

Всю зиму нормандская баба,
Неподвижнее краба,
В корсете кирасой —
Сидела за кассой.
И вот сегодня – очнулась.
Оправила бюст, улыбнулась,
Сквозь очки
Вонзила свои водяные зрачки
В кипящую солнцем панель,
Отпустила мне фунт монпансье
И, словно свирель,
Прошептала: «Месье...
Какая сегодня погода!»

И рядом сапожник,
Качая свой жесткий треножник
И сунув в ботинок колодку,
Веселым аллегро в подметку

Стал гвозди вбивать.
Янтарный огонь – благодать! —
На лысине вдруг заплясал.
Витрина – искристый опал...
В вышине
Канарейка в окне,
Как влюбленная дура, трещала прилежно.
Мои каблуки
Осмотрел он с улыбкою нежной
И сказал, оскалив клыки:
«Какая сегодня погода!»

В витрине аптеки графин
Прыгал, как солнце в июле.

Над прилавком сухой господин
Протянул мне пилюли.
Солидно взглянул на часы,
Завил сосиски-усы,
Посмотрел за порог,
Где огромный взволнованный дог
Тянулся в солнечном блеске
К застенчивой таксе,
И изрек отдельно и веско

(Взяв за пилюли по таксе):
«Какая сегодня погода!»

И даже хромой гробовщик,
Красноглазый старик,
Отставив игриво бедро,
Стоял у входа в бюро
И кричал, вертя подагрическим пальцем
Газетчице, хлипкой старушке,
С вороньим гнездом на макушке:
«Какая сегодня погода!»

Лишь вы, мой сосед,
Двадцатипятилетний поэт,
На солнце изволите дуться.
Иль мир – разбитое блюдце?
Иль солнце – отживший сюжет?
Весною лирическим мылом
Веревку намыливать глупо...
Рагу из собачьего трупа,
Ей-богу, всем опостыло!
Пойдемте-ка к Сене...
Волна полощет ступени, —
Очнитесь, мой друг,

Смахните платочком презренье с лица:
Бок грязной купальни – прекрасней дворца

Даль – светлый спасательный круг...
Какая сегодня погода!

1932

Парижские частушки

Эх ты, кризис, чертов кризис!
Подвело совсем нутро...
Пятый раз даю я Мишке
На обратное метро.

Дождик прыщет, ветер свищет,
Разогнал всех воробьев...
Не пойти ли мне на лекцию
«Любовь у муравьев»?

Разоделась я по моде,
Получила первый приз:
Сверху вырезала спину
И пришила шлейфом вниз.

Сена рвется, как кобыла,
Наводнение до перил...
Не на то я борщ варила,
Чтоб к соседке ты ходил!

Трудно, трудно над Монмартром
В небе звезды сосчитать,
А еще труднее утром
По будильнику вставать!..

У меня ли под Парижем
В восемь метров чернозем:
Два под брюкву, два под клюкву,
Два под садик, два под дом.

Мой сосед, как ландыш, скромн,
Чтобы черт его побрал!
Сколько раз мне брил затылок,

Хоть бы раз поцеловал...

Продала тюфяк я нынче;
Эх ты, голая кровать!
На «Записках современных»^[242]
Очень жестко будет спать.

Мне шофер в любви открылся —
Трезвый, вежливый, не мот.
Час катал меня вдоль Сены —
За бензин представил счет.

Для чего позвали в гости
В симпатичную семью?
Сами, черти, сели в покер,
А я чай холодный пью.

Я в газетах прочитала:
Ищут мамку в Данию.
Я б потрафила, пожалуй,
Кабы знать заранее...

Посулил ты мне чулки —
В ручки я захлопала...
А принес, подлец, носки,
Чтоб я их заштопала.

В фильме месяц я играла —
Лаяла собакою...
А теперь мне повышение:
Лягушонком квакаю.

Ни гвоздей да ни ажанов,
Плас Конкорд^[243] — как океан...
Испужалась, села наземь,
Аксидан^[244] так аксидан!

Нет ни снега, нет ни санок,
Без зимы мне свет не мил.
Хоть бы ты меня мороженым,
Мой сокол, угостил...

Милый год живет в Париже —
Понабрался лоску:
Всегда вилку вытирает
Об свою прическу.

На камине восемь килек —
День рожденья, так сказать...
Кто придет девятым в гости,
Может спичку пососать...

Пароход ревет белугой,
Башня Эйфеля в чаду...
Кто меня бы мисс Калугой
Выбрал в нынешнем году!

<1931>

Стихотворения для детей

Приставалка

– Отчего у мамочки
На щеках две ямочки?
– Отчего у кошки
Вместо ручек ножки?
– Отчего шоколадки
Не растут на кровати?
– Отчего у няни
Волоса в сметане?
– Отчего у птичек
Нет рукавичек?
– Отчего лягушки
Спят без подушки?..

«Оттого, что у моего сыночка
Рот без замочка».

<1912>

На коньках

Мчусь, как ветер, на коньках
Вдоль лесной опушки...
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке...
Раз-два! Вот и поскользнулся...
Раз и два! Чуть не кувыркнулся..
Раз-два! Крепче на носках!

Захрустел, закричал лед,
Ветер дует справа.
Елки-волки! Полный ход —
Из пруда в канаву...
Раз-два! По скользкой дорожке...
Раз и два! Веселые ножки...
Раз-два! Вперед и вперед...

Перед сном

Каждый вечер перед сном
Прячу голову в подушку:
Из подушки лезет гном
И везет на тачке хрюшку,
А за хрюшкой дракон,
Длинный, словно макарона...
За драконом – красный слон,
На слоне сидит ворона,
На вороне – стрекоза,
На стрекозке – тетя Даша...
Чуть прижму рукой глаза —
И сейчас же все запляшут!
Искры прыгают снопом,
Колесом летят ракеты,
Я смотрю, лежу ничком
И тихонько ем конфеты.
Сердцу жарко, нос горит,
По ногам бегут мурашки,
Тьма кругом, как страшный кит,
Подбирается к рубашке...
Тише мышки я тогда.
Зашуршишь – и будет баня:
Няня хитрая, – беда.
Всё подсмотрит эта няня!
«Спи, вот встану, погоди!»
Даст щелчка по одеялу,
А ослушаешься – жди
И нашлепает, пожалуй!

В огороде

В огороде целый день
Мы сегодня полем грядки,
А за нами, словно тень,
Ходят пестрые цыплятки.

Подем сразу в восемь рук:
Я и Петя, Фрол и Даша...
Ишь как чист усатый лук!
Это всё работа наша.

И морковка чище сот...
Обожгло крапивой пятки.
Ну, до свадьбы заживет!
Эй, петух, долой-ка с грядки!

Свеклу кончили. Ура!
Подвязать горох бы нужно.
Поливайте, детвора:
По порядку! Дружно, дружно!

Петя важно морщит лоб
И с ведром шагает гусем.
Руки вымоем – и стоп:
Хлеба с солью перекусим.

Галчата

На заборе снег мохнатый толстой грядочкой лежит.
Налетели вмиг галчата... Ух, какой серьезный вид!

Ходят боком вдоль забора, головенки изогнув,
И друг дружку скоро-скоро клювом цапают за клюв.

Что вы ссоритесь, пичужки? Мало ль места вам кругом —
На березовой макушке, на крыльце и под крыльцом.

Эх, когда б я сам был галкой — через форточку б махнул
И веселою нырялкой в синем небе потонул...

<1920>

Мартышка

«Отчего ты, мартышка, грустна
И прижала к решетке головку?
Может быть, ты больна?
Хочешь сладкую скушать морковку?»

– «Я грустна оттого,
Что сижу я, как пленница, в клетке.
Ни подруг, ни родных – никого,
Ни зеленой развесистой ветки...

В африканских лесах я жила,
В теплых, солнечных странах;
Целый день, как юла,
Я качалась на гибких лианах...

И подруги мои —
Стаи вечно веселых мартышек —
Коротали беспечные дни
Средь раскидистых пальмовых вышек.

Каждый камень мне был там знаком,
Мы ходили гурьбой к водопою,
В бегемотов бросали песком
И слонов обливали водою...

Здесь и холод и грязь,
Злые люди и крепкие дверцы...
Целый день, и тоскуя и злясь,
Свой тюфяк прижимаю я к сердцу.

Люди в ноздри пускают мне дым,
Тычут палкой, хохочут нахально...
Что я сделала им?

Я – кротка и печальна.

Ты добрей их, ты дал мне морковь,
Дал мне свежую воду, —
Отодвинь у решетки засов,
Отпусти на свободу...»

– «Бедный зверь мой, куда ты уйдешь?
Там, на улице, ветер и вьюга.
В переулке в сугробе заснешь,
Не увидев горячего юга...

Потерпи до весны лишь, – я сам
Выкуп дам за тебя – и уедем
К африканским веселым лесам,
К чернокожим соседям.

.

А пока ты укройся теплей
И усни. Пусть во сне хоть приснится
Ширь родных кукурузных полей
И мартышек веселые лица...»

Скрут

- «Кто живет под потолком?»
– Гном.
«У него есть борода?»
– Да.
«И манишка и жилет?»
– Нет.
«Как встает он по утрам?»
– Сам.
«Кто с ним утром кофе пьет?»
– Кот.
«И давно он там живет?»
– Год.
«Кто с ним бегают вдоль крыш?»
– Мышь.
«Ну а как его зовут?»
– Скрут.
«Он капризничает, да?»
– Ни-ког-да!..

Сверчок

Что поет сверчок за печкой?
«Тири-тири, надо спать!»
Месяц выбелил крылечко,
Сон взобрался на кровать...
Он в лицо Катюше дышит:
«Ты, коза, – закрой глаза!»
Катя слышит и не слышит.
За окном шуршит лоза.
Кто там бродит возле дома?
Мишка с липовой ногой,
Дочка сна, колдунья-дрема?
Черт ли с Бабою-Ягой?
Ветер просит за трубою:
«Ты! Мне холодно! Пусти!..»
Это что еще такое?
В лес на мельницу лети...
Катя ждет, поджав коленки.
Тишина... И вот опять
Друг-сверчок запел со стенки:
«Тири-тири... надо спать!»

<1920>

notes

Примечания

1

Ламентации (*лат.*) – жалобы, сетования.

Гений Соловьевых – Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900), поэт, философ, публицист, Труды В. С. Соловьева оказали большое влияние на русскую интеллигенцию на рубеже XIX – XX вв.

Магдалина (Мария Магдалина, *еванг.*) – блудница, раскаявшаяся и уверовавшая в Христа, когда он, после воскресения, изгнал из нее бесов. (Ев. от Марка, 16,9).

4

Фрина (IV в. до н. э.) – афинская куртизанка, отличавшаяся замечательной красотой.

Ищем Бога, ищем черта – речь идет о богоискательстве, религиозно-философском течении, на которое большое влияние оказали философские идеи В. С. Соловьева, в частности мысли о необходимости обновления христианства. Особенно большое распространение богоискательство получило после поражения первой русской революции.

Пробуждение весны – ироническое обыгрывание пьесы немецкого драматурга Ф. Ведекинда «Пробуждение весны» (1891), посвященной «проблемам пола», получившим широкое распространение в начале XX в. Эта тема не раз звучит и в других стихах поэта, например в «Песне о поле».

Как новый Лазарь, взял да и воскрес – речь идет об одном из чудес Иисуса, воскресившего «некоего Лазаря из Вифании» на четвертый день после его смерти (Ев. от Иоанна, 11).

Зеленый шум... Как много дум наводит он – соединение цитат из стихотворений Н. А. Некрасова «Зеленый шум» и «Вечерний звон» ирландского поэта Томаса Мура в переводе И. И. Козлова.

«Князь» – прозвище татар-старьевщиков в дореволюционной России.

Фефела – «простофиля, разиня, необходимая баба» (Вл. Даль).

«Хоровод. Десять диалогов» (1896–1897) – пьеса австрийского драматурга А. Шницлера, персонажи которой – проститутка и солдат, солдат и горничная, актриса и граф и т. п. Пьеса имела огромный успех у читателей России, выдержала целый ряд переизданий.

Териоки (ныне Зеленогорск) – популярный дачный поселок под Петербургом на берегу Финского залива.

Написано «по мотивам» известного стихотворения Козьмы Пруtkова «Юнкер Шмидт». «Вянет лист. Проходит лето...».

В 1908–1910 гг. в Думе происходило обсуждение вопроса «о мерах борьбы с пьянством», была создана специальная комиссия.

Сам префект винокурений – возможно, речь идет о епископе Митрофане, возглавлявшем комиссию.

Ассессор — гражданский чин в России.

«Россия» – петербургская официальная газета.

«Биржевые ведомости» — петербургская газета, орган биржевых кругов.

Харибда и Сцилла (др. – греч. миф.) – скалы-чудовища по сторонам Мессинского пролива, пожиравшие проплывающие между ними корабли вместе с моряками. Переносное значение – подвергаться опасности с разных сторон.

«*Речь*» – газета, центральный орган партии кадетов.

«Новая Русь» – либеральная газета. В 1908–1910 гг. выходила вместо приостановленной либерально-буржуазной «Руси».

«Петербургская газета» — газета, посвященная вопросам политики и литературы.

«Петербургский листок» – бульварная газета, популярная среди столичных обывателей.

«Союзник» – член организации «Союз русского народа».

«Русское знамя» – черносотенная газета, орган «Союза русского народа», пользовалась правительственными дотациями.

Елагин — один из петербургских островов.

Стрелка – мыс, выступающий в Финский залив.

В эпиграф вынесена цитата из рассказа Леонида Андреева «Проклятие зверя» (1907), послужившего первоначальным импульсом для написания стихотворения.

Глан – лейтенант Томас Глан – герой чрезвычайно популярного в России начала XX в. романа норвежского писателя Кнута Гамсуна «Пан». (1894). Независимый, гордый человек – лейтенант Глан стремится вырваться из условностей и законов буржуазного уклада жизни и уходит от цивилизации «на природу», живет в горах, добывая себе пропитание охотой и рыбной ловлей.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – лидер партии октябристов, депутат, в 1910–1911 гг. председатель III Думы, получившей название «Гучковской».

Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) – германский император.

«Остров мертвых» – картина швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина (1827–1901). Картина была необыкновенно популярна в России начала XX в. Бесчисленные ее репродукции украшали стены каждого «приличного дома». Упоминается в ностальгическом стихотворении Арсения Тарковского «Вещи»: «Где «Остров мертвых» в декадентской раме?». Арсений Тарковский, Собр. сочинений в 3-х томах; т. 1, стр. 165.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – лидер партии октябристов, депутат, в 1910–1911 гг. председатель III Думы, получившей название «Гучковской».

Урьель д'Аоста. Уриэль Аоста (1585–1640) – голландский еврейский философ, утверждал, что доктрина о бессмертии и загробной жизни не вытекает из Библии, подвергал критике различные религиозные догмы.

«Русь» – петербургская либерально-буржуазная газета, редактор-издатель А. А. Суворин.

Есть парламент, нет? Бог весть. В этих строках слышны отзвуки тогдашних политических споров о государственных структурах.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – лидер партии октябристов, депутат, в 1910–1911 гг. председатель III Думы, получившей название «Гучковской».

Франц-Иосиф I (1830–1916) – австрийский император.

Бобринский Владимир Алексеевич (1868 – после 1919) – депутат II и III Дум, лидер монархистов, придерживался националистических взглядов.

Скрижали (*библ.*) – две каменные плиты, с выбитым на них текстом десяти заповедей. Скрижали эти были дарованы Богом Моисею. Разбитые скрижали – символ попранных и преданных прежних идеалов.

Я жених непришедшей прекрасной невесты – невеста в данном контексте так и не обретенная свобода, изображавшаяся в образе прекрасной крылатой девушки.

В стихах кроме насмешки над псевдоромантическими устремлениями особо экзальтированных современников, сквозит иронический намек на главного героя романа Кнута Гамсуна «Пан» – лейтенанта Глана (см. комментарий к стихотворению «Все в штанах скроённых одинаково...»).

Стихотворение написано к пятидесятилетнему юбилею
А. П. Чехова (17 января 1860 г.).

Боговздорец – суетные богоискатели и богостроители.

Черный рак – черносотенец.

Брандахлысты (*разговорн.*) – праздные, пустые, фатоватые гуляки.

Астарта (*Иштар*) – богиня плодородия, плотской любви в пантеоне древних финикийцев, считалась покровительницей проституток и гомосексуалистов, как и Ваал олицетворяла разврат.

Ржут пажи – пажи – воспитанники привилегированного учебного заведения – Пажеского корпуса в Петербурге.

Шнель-клопсы – мясные биточки.

Брахмапутра – река, протекающая в Китае и Индии.

«Месяц в деревне» – пьеса И. С. Тургенева.

Шаромыжник (фр. cher ami) – попрошайка, человек, живущий за чужой счет.

В «Сатириконе» было напечатано под названием «Быт» и с посвящением «К. И. Чуковскому».

Начальник Акцептации – начальник отдела акцептаций, ведающий приемом векселей и счетов к платежу.

Таксировщик – чиновник, определяющий размеры таксы.

Чуйка – длиннополый кафтан; в данном случае – простолюдин в этой одежде.

Кэк-уок – модный в начале XX века танец, в данном случае дамская шляпка в стиле этого танца.

Трен – шлейф женского платья.

Пьяный Ной – библейский персонаж, ведший праведную жизнь и во время великого потопа спасший в ковчеге свою семью и животных. Впоследствии Ной насадил виноградник, из собранного урожая он изготовил вино, от которого опьянел. (Бытие,9, 20–27).

Nocturno – ночной, ночные сцены, ночное сумеречное настроение.

Боа – дамский шарф из меха или перьев.

Банчок; банк – азартная карточная игра преимущественно на деньги.

Верба – в данном случае Вербное воскресенье – последний воскресный день Великого поста непосредственно перед Пасхой. В это воскресенье повсеместно устраивались ярмарки с разнообразными развлечениями, торговали ветками вербы.

Чуйка – длиннополый кафтан; в данном случае – простолюдин в этой одежде.

«Животрепещущие доктора» – пиявки.

Американские жители – игрушка; стеклянный узкий стакан или пробирка, наполненная водой и сверху затянутая резинкой. В ней плавал стеклянный чертик, при нажатии на резинку опускавшийся и поднимающийся внутри пробирки.

Леди Годива – жена графа Леофрика, обложившего жителей города Ковентри непомерными налогами. На просьбы жены снизить налоговое бремя граф сказал, что сделает это при условии что леди Годива проедет на лошади по улицам города обнаженной. Леди Годива выполнила условие мужа. Легенда о леди Годиве послужила сюжетом многих художественных произведений – от живописи до поэзии и кинематографа.

У Калинкиного моста – мост в устье реки Фонтанки в Петербурге, неподалеку от которого находилась больница для больных венерическими болезнями.

На стене босой Толстой – речь идет о репродукции портрета Л. Н. Толстого на пашне, принадлежащего кисти И. Е. Репина (1901).

Метерлинк – Морис Метерлинк (1862–1949) бельгийский поэт-символист и драматург, чья пьеса «Синяя птица», поставленная в МХТ, была очень популярна в России.

Пассаж – универсальный магазин на Невском проспекте.

«*Доминик*» – ресторан с кондитерской, названный по фамилии его владельца.

Александровский сквер – расположен у здания Адмиралтейства в Петербурге.

«Аквариум» – сад с летним театром на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

«Новое время» (1868–1917) – одна из влиятельнейших петербургских газет, выходившая под редакцией А. С. Суворина; первоначальное либеральное направление газеты сменилось консервативным, а после событий 1905 г. черносотенным.

Шварц А. Н. (1848–1915) – министр просвещения, осуществивший на этом посту ряд охранительных и реакционных мероприятий.

«Медведь» – ресторан в Петербурге.

Кноп – галантерейный магазин Ф. Кнопа на Невском проспекте.

«Смех сквозь слезы» – цитата из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (гл. 7).

«Удрал бы ты, как Подколесин, чрез окно...» – персонаж пьесы Н. В. Гоголя «Женитьба» Подколесин выпрыгивает в окно накануне венчания.

Третья Дума – Государственная Дума (1907–1912) с черносотенно-октябристским большинством была создана Манифестом от 3 июня 1907 г., после незаконного роспуска кадетско-либеральной Второй Думы.

И в председатели был избран по уму – намек на председателя Третьей Думы октябриста Н. А. Хомякова.

«*Золотое Руно*» – московский художественный и литературно-критический альманах символистов (1906–1909).

Охранное – одно из отделений департамента полиции, осуществлявшее политический надзор и сыск.

Пирогов с успехом служит в Ялте – намек на генерала И. А. Думбадзе, градоначальника Ялты, прославившегося своими репрессивными мерами в Крыму. Поручик Пирогов – персонаж повести Н. В. Гоголя «Невский проспект».

Чуб – персонаж повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

«Россия» – петербургская газета, с 1906 г. орган Министерства внутренних дел.

«Осведомительное бюро» – было создано в 1906 г. при Главном управлении печати, для снабжения печатных органов «достоверными сведениями» о деятельности правительства.

Вий – мифологическое существо, глаза которого были скрыты огромными веками; появляется в повести Н. В. Гоголя «Вий».

В стихотворении создан пародийный образ декадента, поэта тогдашнего модернистского круга.

Поэтесса бальзаковских лет – т. е. лет тридцати-сорока. См. роман О. Бальзака «Тридцатилетняя женщина».

Месса – обедня, католическое церковное богослужение.

Бebelь Август (1840–1913) – немецкий революционер, руководитель социал-демократической партии.

Пильский П. М. (1876–1942) – прозаик, литературный критик.

Вакс Калошин — имеется в виду поэт-символист М. А. Волошин (1877–1931).

Чуковский К. И. (Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969) – критик, детский поэт, переводчик.

В экзотике названий – пол-успеха – имеется в виду острога и парадоксальность заголовков ранних статей К. Чуковского. («Веселое кладбище», «Авиация и поэзия», «Литературная пыль», «Чужой кошелек»...).

Юшкевич С. С. (1868–1927) – драматург, прозаик, после революции в эмиграции. К. Чуковский писал о творчестве С. С. Юшкевича.

Иногда Корней Белинский сечет господ, цена которым грош – имеются в виду фельетоны К. Чуковского о третьеразрядных поэтах и писателях.

С настроением Англии в Персии — в 1901 г. Англия получила концессию на разработку нефтяных месторождений в Персии, в связи с этим между странами возникли сложные экономические и политические отношения.

Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.) – римский поэт.

Гораций – Квинт Гораций Флакк (65–8 до н. э.) – римский поэт.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – римский философ и писатель.

Дант, Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт.

Ювенал Децим Юний (ок. 60 – ок. 127) – римский поэт-сатирик.

Гессен И. В. (1866–1943) – адвокат и публицист, один из лидеров партии кадетов.

Милюков П. Н. (1859–1943) – историк и публицист, один из лидеров партии кадетов.

Авель (*библ.*) – один из двух сыновей Адама и Евы, отличавшийся кротким нравом в противоположность своему брату Каину. Каин убил Авеля.

Прекрасный Иосиф (библ.) – сын Иакова; юного Иосифа, проданного братьями в Египет, безуспешно пыталась соблазнить жена фараона. (Бытие, 39).

Интонационно отсылает к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Не обвиняй меня, Всесильный...»

Третья Дума – см. комментарий к стихотворению «Смех сквозь слезы».

Совет — Государственный совет, высшее законосовещательное учреждение Российской империи.

Бестужевские курсы – женское высшее учебное заведение в Петербурге (1878–1917). Курсы названы в честь К. Н. Бестужева-Рюмина, историка, первого руководителя курсов.

Св. Виктора в Париже.

Назвать их корпусом или бурсой... – соответственно: кадетским корпусом или духовной семинарией.

Марков – Марков (2-й) Н. Е. (1866–1931?), один из лидеров крайне правых в 3 и 4 Думах, идеолог черносотенного «Союза русского народа».

Съезд дворян – проходил в Москве в начале 1909 года.

«Нива» – популярный, иллюстрированный петербургский журнал (1870–1918).

Мережковский – Мережковский Д. С. (1866–1941) – поэт, прозаик, религиозный мыслитель, один из основоположников русского декадентства.

Гунгербург – Нарва-Йыэсуу, Усть-Нарва, город в Эстонии, курорт.

Шварц А. Н. (1848–1915) – министр просвещения, осуществивший на этом посту ряд охранительных и реакционных мероприятий.

«Родина» – иллюстрированный журнал для семейного чтения (1879–1917).

Бонтонны – от французского «бонтон» – хороший тон, светски обходительны.

Акцизник – чиновник акцизного (налогового) ведомства.

Кремовые брюки – светлые форменные брюки чиновников высшего ранга.

В стихотворении отразились впечатления о жизни автора в Житомире.

Приготовишка – ученик подготовительного класса гимназии.

«Гицель» – здесь ловец бездомных животных, живодер.

Смайльс Самуил (1812–1904) – популярный в России английский писатель, автор поучительных романов на морально-этические темы.

Gala Peter – марка швейцарского шоколада.

Гименей – бог брака в греческой и римской мифологии.

Спиноза Борух (Бенедикт, 1632–1677) – нидерландский философ, один из выдающихся представителей философии Нового времени.

Болхов – уездный город в Орловской губернии.

Воняет кожей – в Болхове работали кожевенные заводы.

Коринфские колонны – колонны классического ордера с пышной капителью из завитков и листьев; в стихотворении их упоминание только подчеркивает убогость здания, которое они украшают.

Чуйка – длиннополый кафтан; в данном случае – простолюдин в этой одежде.

Божница – шкафчик или полочка для икон и образов.

«Карнавал в Венеции», «Любовник под кроватью» — названия кинофильмов.

«Мозг и душа» — философский труд психолога и философа
Г. И. Челпанова.

«На дне» — пьеса М. Горького.

«Гаданье Соломона» – популярная в те годы книга гаданий.

Васильевский остров – один из островов Петербурга, расположенный в дельте Невы.

143

Маркёр – распорядитель в бильярдной.

Друг против друга (*фр.*). – *Ред.*

Иматра – водопад на реке Вуокса в Финляндии.

Намолчался... как инок – т. е. как монах, давший обет молчания.

Табльдот (*фр.*) – общий стол в пансионе.

Пародия на библейскую Песнь Песней Соломона, с отсылками в современность, в частности на повесть А. Куприна «Суламифь», написанную по библейским мотивам.

Соломон (X в. до н. э.) – прославившийся своей мудростью древнееврейский царь, автор Книги притчей и Песни Песней. Последняя посвящена любви Соломона и Суламифи.

Хирам (X в. до н. э.) – скульптор и литейщик из Тира (Финикия).

Ханаан – древнее название Израиля.

Мессия – в данном контексте – Христос.

«Благодарю!» (Фр.) – Ред.

В стихотворении явственны элементы пародии «суда Париса», эпизода из «Илиады» Гомера. Из трех красавиц богинь: Геры, Афины и Афродиты, споривших, кто из них прекраснее, Парис выбрал Афродиту.

«Санин» – роман М. П. Арцыбашева (1878–1927). Роман о жгучих «проблемах пола», с откровенными натуралистическими сценами, пользовался широчайшей популярностью, вызвал множество дискуссий, неоднозначные оценки и суждения.

Ивик (VI в. до н. э.) – греческий поэт, убитый разбойниками. Легенда об Ивике воссоздана в балладе Ф. Шиллера «Ивиковы журавли».

Овен – Оуэн Роберт (1771–1858) – английский писатель, социалист-утопист.

Шмецке – деревня неподалеку от Усть-Нарвы в Эстонии.

Скорбный лист – история болезни.

Колумбово яйцо – по легенде Христофору Колумбу предложили найти способ как «поставить яйцо», путешественник решительно ударил оконечностью яйца о стол и утвердил его вертикально на треснувшей скорлупе. Т. е. проявил нестандартный подход к проблеме.

Орясина (разговорн.) – глупый, недалекий человек.

Кадеты – члены Конституционно-демократической партии, так называемой «Партии народной свободы» (1905–1917).

Эсдеки – члены Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Дюма – Александр Дюма-отец (1802–1870) и Александр Дюма-сын (1824–1895), популярные французские писатели.

Андреев Л. Н. (181?–1919) – известный прозаик и драматург.

Литейный – Литейный проспект в Петербурге.

167

Фраже – металл, имитирующий серебро.

Полендвица – копченая говядина.

«На волнах» – вальс В. Розаса, популярный в начале двадцатого века.

Вазы этрусские – вазы из обожженной глины, сделанные этрусками, населявшими в VII–V вв. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова.

Ионический и дорийский (дорический) – виды древнегреческих архитектурных ордеров. «Вазы этрусские» никак с ними не соотносятся, что свидетельствует о «образованности» «стилистов» в данном вопросе.

Салон «Ослиной кожи» – намек на выставку под названием «Ослиный хвост», прошедшую незадолго.

Как и в стихотворении «Рождение футуризма» здесь явственно сквозит ироничное отношение к крайним проявлениям футуризма, привлекавшего к себе внимание публики.

Учитель (*ит.*). – Ред.

Петрарка Франческо (1304–1374) – итальянский поэт.

Шелли Перси Биши (1792–1822) – английский поэт-романтик.

Крез (595–546 до н. э.) – царь Лидии, владевший несметными богатствами.

Давид (ок. 1010–970 до н. э.) – царь Израиля, создатель Книги псалмов.

Дант, Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт.

«Руси есть веселие пити» — цитата из «Повести временных лет», слова Великого князя Владимира, отказавшегося от вероисповедания, запрещавшего пить вино.

Витии – ораторы, говоруны.

Апаши – в данном контексте: хулиганы.

Вий – мифологическое существо, глаза которого были скрыты огромными веками; появляется в повести Н. В. Гоголя «Вий».

Нищий.

Прекрасный Иосиф (библ.) – сын Иакова; юного Иосифа, проданного братьями в Египет, безуспешно пыталась соблазнить жена фараона. (Бытие, 39).

Александровский сквер – расположен у здания Адмиралтейства в Петербурге.

Шляпка с какаду – шляпка, украшенная перьями попугая.

Исакий каждый год опускается все ниже – здесь говорится о слухах, утверждавших, что Исаакиевский собор оседает под собственной тяжестью.

Нирвана – в буддизме нирвана состояние высшего блаженства, полного отрешения от земных забот.

Василиск – мифическое существо, убивающее взглядом.

В позе Бонапарта – т. е. с рукой, заложеной за борт сюртука или со скрещенными руками.

Ромны – город в нынешней Сумской области, тогдашней Полтавской губернии.

Мединский – из города Медина на Аравийском полуострове.

Шайтан (арабск.) – дьявол.

Самсон – библейский герой, славившийся своей силой. Воевал с филистимлянами. Когда Самсон попал в плен к филистимлянам, они приковали его к колоннам храма и начали пировать. Самсон уперся руками в колонны и обрушил храм на головы врагов.

Специя – город порт на севере Италии.

Боттичелли Сандро (1445–1510) – итальянский художник.

Месса – обедня, католическое церковное богослужение.

«Давид» – скульптура Микеланджело Буонарроти.

На Петербургской стороне в стенах военного училища – сборный пункт располагался во 2-м Кадетском корпусе на Петербургской стороне.

201

Ковчег-манеж – одно из зданий, принадлежавших Кадетскому корпусу.

Ретирады – укрепленные участки фортификационных сооружений.

Ломжа – город в Восточной Польше, где происходили ожесточенные бои.

Хорунжий – низший офицерский чин в казачьих войсках.

Немо – имя персонажа романа Жюль Верн «20 000 лье под водой».

Исаакий – Исаакиевский собор в Петербурге.

Kolpin-see – озеро в провинции Мекленбург на востоке Германии.

Чингисхан (1155–1227) – полководец, основатель Монгольской империи.

Крестовский – один из островов Петербурга. В течение ряда лет Саша Черный жил именно в этом районе города.

Стрелка – в данном случае мыс на месте слияния Большой Невки и Средней Невки.

Аверченко А. Т. (1881–1925) – писатель-сатирик.

Апраксин двор — торговые ряды в центре Петербурга.

Калинкинское пиво – пиво, сваренное на Калинкинском заводе в Петербурге.

Плакаты с толстым дьяволом внутри – рекламные плакаты журнала «Сатирикон» работы художника Ре-ми, с изображением веселого красного черта.

Издатель – М. Г. Корнфельд, издатель «Сатирикона» в 1908–1914.

В первом ящике почтовом – отдел журнала, называвшийся «Почтовый ящик «Сатирикона». Здесь печатались хлесткие отзывы на присылаемые в редакцию письма и произведения читателей.

217

Чернышев переулок – ныне ул. Ломоносова, пересекает реку Фонтанку.

Гатчина – город неподалеку от Петербурга, где долгое время жил А. И. Куприн.

А. И. Куприн (1870–1938) – русский писатель.

Сарабанда – старинный испанский танец.

Фуга – музыкальное произведение, в котором многократно воспроизводится одна и та же тема в разных голосах.

Са-ва (фр.) – все хорошо, в порядке.

Соловки – архипелаг островов в Белом море. На Соловецком острове, самом крупном, находился монастырь. В 1923–1929 гг. на острове учредили Соловецкие лагеря особого назначения (СЛОН).

Чучело Чемберлена – Чемберлен Остин (1863–1937) в 1924–1929 гг. английский министр иностранных дел. На праздничных демонстрациях в СССР в те годы носили карикатурные куклы, изображавшие Чемберлена.

Пошехонский... шшш – см. роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина».

«Из-за острова на стрежень...» – народная песня на слова
Д. Н. Садовникова.

Когда интеллигенты... хрипели под досками... – большевистские репрессии здесь уподобляются казням при татаро-монгольском иге, когда казнимых клали под доски и давили.

Призвали спецов-варягов – спецами в первые годы советской власти называли интеллигентов-специалистов, а так же иностранцев, заключивших контракт с советскими предприятиями.

ГПУ – Государственное политическое управление при НКВД в 1922–1924 гг., затем ОГПУ.

Цирцея – коварная волшебница из поэмы Гомера «Одиссея», превратившая спутников Одиссея в свиней, а ему предложившая разделить с ней любовь. Коварная обольстительница.

Сантим – мелкая французская монета.

Бульвар-Мишель — бульвар Сен-Мишель в Париже.

О-де-ви (фр.) – водка.

Ажан – французский полицейский.

Писательский бал – благотворительные литературные вечера или музыкальные балы, устраиваемые русскими эмигрантами.

Карт-д'идантитэ (*фр.*) – удостоверение личности.

Либерте-фратернитэ (фр.) – свобода, братство.

Вниз по матушке по Сене – перефраз русской народной песни
«Вниз по матушке по Волге...»

«Последние новости» – русская газета, выходившая в Париже в 1920–1930 гг.

Марше-о-нюс — «блошиный» рынок в Париже.

На Булонском на пруде – иронично называется пруд в Булонском лесу.

«Современные записки» – политический и литературный журнал русской эмиграции, выходивший в 1920–1939 гг.

Плас Конкорд — площадь Согласия в Париже.

Аксидан (*фр.*) – несчастный случай.